

ПРЕДИСЛОВИЕ (К «ВОСПОМИНАНИЯМ»)

Я никогда прежде не задавалась мыслью написать свои воспоминания. Не говоря уже о том, что я сознавала в себе полное отсутствие литературного таланта, я всю мою жизнь была так усиленно занята изданиями сочинений моего незабвенного мужа, что у меня едва хватало времени на то, чтоб заботиться о других, связанных с его памятью, делах.

В 1910 году, когда мне, по недостатку здоровья и сил, пришлось передать в другие руки так сильно интересовавшее меня дело издания произведений моего мужа и когда, по настоянию докторов, я должна была жить вдали от столицы, я почувствовала громадный пробел в моей жизни, который необходимо было заполнить какою-либо интересующею меня работой, иначе, я чувствовала это, меня ненадолго хватит.

Живя в полнейшем уединении, не принимая или принимая лишь отдаленное участие в текущих событиях, я мало-помалу погрузилась душою и мыслями в прошлое, столь для меня счастливое, и это помогало мне забывать пустоту и бесцельность моей теперешней жизни.

Перечитывая записные книжки мужа и свои собственные, я находила в них такие интересные подробности, что невольно хотелось записать их уже не стенографически, как они были у меня записаны, а общепонятным языком, тем более что я была уверена, что моими записями заинтересуются мои дети, внуки, а может быть, и некоторые поклонники таланта моего незабвен-

ного мужа, желающие узнать, каким был Федор Михайлович в своей семейной обстановке.

Из этих разновременно записанных в последние пять зим (1911—1916) воспоминаний составилось несколько тетрадей, которые я постаралась привести в возможный порядок.

Не ручаясь за занимательность моих воспоминаний, могу поручиться за их достоверность и полное беспристрастие в описании поступков некоторых лиц; воспоминания основывались главным образом на записях и подкреплялись указаниями на письма, газетные и журнальные статьи.

Признаю откровенно, что в моих воспоминаниях много литературных погрешностей: растянутость рассказа, несоразмерность глав, старомодный слог и пр. Но в семьдесят лет научиться новому трудно, а потому да простят мне эти погрешности ввиду моего искреннего и сердечного желания представить читателям Ф. М. Достоевского со всеми его достоинствами и недостатками — таким, каким он был в своей семейной и частной жизни.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

I

Мое появление на свет божий

С Александро-Невской лаврой в Петербурге соединены многие важные для меня воспоминания: так, в единственной приходской церкви (ныне монастырской) Лавры, находящейся над главными входными воротами, были обвенчаны мои родители. Сама я родилась 30 августа, в день чествования св. Александра Невского, в доме, принадлежащем Лавре, и давал мне молитву и меня крестил лаврский приходский священник. На Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры погребен мой незабвенный муж, и, если будет угодно судьбе, найду и я, рядом с ним, место своего вечного успокоения. Как будто все соединилось для того, чтобы сделать Александро-Невскую лавру самым дорогим для меня местом во всем мире.

Родилась я 30 августа 1846 года, в один из тех прекрасных осенних дней, которые слывят под названием дней «бабьего лета». И донныне праздник св. Александра Невского считается почти главенствующим праздником столицы, и в этот день совершается крестный ход из Казанского собора в Лавру и обратно, сопровождаемый массою свободного в этот день от работ народа. Но в прежнее, далекие времена день 30 августа праздновался еще торжественнее: посредине Невского проспекта, на протяжении более трех верст, устраивался широкий деревянный

помост, по которому, на возвышении, не смешиваясь с толпой, медленно двигался крестный ход, сверкая золочеными крестами и хоругвями. За длинной вереницей духовных особ, облаченных в золоченые и парчовые ризы, шли высокопоставленные лица, военные в лентах и орденах, а за ними ехало несколько парадных золоченых карет, в которых находились члены царствующего дома. Все шествие представляло такую редкую по красоте картину, что на крестный ход в этот день собирался весь город.

Мои родители жили в доме, принадлежащем и поныне Лавре, во втором этаже. Квартира была громадная (комнат 11), и окна выходили на (ныне) Шлиссельбургский проспект и частью на площадь перед Лаврою¹. Семья была большая: старушка-мать и четыре сына, из которых двое были женаты и имели детей. Жили дружно и по-старинному гостеприимно, так что в дни рождения и именин членов семейства, на Рождестве и Святой все близкие и дальние родные собирались у бабушки с утра и весело проводили время до поздней ночи. Но особенно много собиралось гостей 30 августа, так как при хорошей погоде окна были открыты и можно было с удобством посмотреть на шествие, а кстати, и побыть в веселом знакомом обществе. Так было и 30 августа 1846 года. Моя матушка вместе с прочими членами семьи, вполне здоровая и веселая, радушно встречала и угощала гостей, а затем скрылась, и все были уверены, что молодая хозяйка хлопочет во внутренних комнатах насчет угощения. А между тем моя матушка, не ожидавшая так скоро предстоявшего ей «события», вероятно, вследствие усталости и волнения, вдруг почувствовала себя нехорошо и удалилась в свою спальню, послав за необходимою в таких случаях особою. Мать моя всегда пользовалась хорошим здоровьем, у ней уже прежде рождались дети, а потому наступившее событие не внесло никакой суматохи и волнения в доме.

¹ Про обстоятельства, сопровождавшие мое появление на свет, я слышала впоследствии от разных дядюшек и тетюшек, бывших в тот день в гостях, много рассказов с разными вариациями и комментариями. (Прим. А. Г. Достоевской.)

Около двух часов дня торжественная обедня в соборе окончилась, загудели звучные лаврские колокола, и при выступлении крестного хода из главных ворот Лавры раздались торжественные звуки стоявшей на площади военной духовой музыки. Лица, сидевшие у окон, стали сзывать остальных гостей, и были слышны восклицания: «Идет, идет, тронулся крестный ход». И вот при этих-то восклицаниях, звоне колоколов и звуках музыки, слышанных моею матушкою, тронулась и я в мой столь долгий жизненный путь².

Торжественная процессия прошла, и гости стали собираться домой, но их удержало желание проститься с бабушкой, которая, как им сказали, прилегла отдохнуть. Около трех часов в залу, где были гости, вошел мой отец, ведя под руку старушку-мать. Оставившись среди комнаты, мой отец, несколько взволнованный происшедшим событием, торжественно провозгласил: «Дорогие наши родные и гости, поздравьте меня с великою радостью: бог даровал мне дочь Анну». Отец мой был чрезвычайно веселого характера, балагур, шутник, что называется, «душа общества». Думая, что это известие — праздничная шутка, никто ей не поверил, и раздались восклицания: «Не может быть! Григорий Иванович шутит! Как же это возможно? Ведь Анна Николаевна все время была тут», — и т.д. Тогда сама бабушка обратилась к гостям: «Нет, Гриша говорит правду: час тому назад появилась на свет моя внучка, Нюточка!»

Тут посыпались поздравления, а из дверей выступила девушка с налитыми бокалами шампанского. Все пили за здоровье новорожденной, ее родителей и бабушки. Дамы бросились поздравлять родильницу (в те времена не было докторских предосторожностей) и целовать «маленькую», а мужчины, пользуясь отсутствием дам, прикончили припасенные бутылки шампанского, провозглашая тосты в честь новорожденной. Таким-то

² Про обстоятельства, сопровождавшие мое появление на свет, я слышала впоследствии от разных дядюшек и тетюшек, бывших в тот день в гостях, много рассказов с разными вариациями и комментариями. (Прим. А. Г. Достоевской.)

торжественным образом было встречено мое появление на свет божий, и, как все говорили, это было хорошим предзнаменованием насчет моей будущей судьбы. Предзнаменование это впоследствии исполнилось: несмотря на то, что мне пришлось перенести много материальных невзгод и нравственных страданий, я считаю свою Жизнь чрезвычайно счастливою, и я ничего не хотела бы изменить в моей жизни.

Скажу несколько слов о моих родителях. Род отца был из Малороссии, и прапрадед носил фамилию Снитко. Прадед, продав имение в Полтавской губернии, переселился в Петербург, уже именуясь Сниткиным. Мой отец воспитывался в петербургской школе иезуитов, но иезуитом не сделался, а всю жизнь оставался добрым и простодушным человеком³. Служил мой отец в одном из магистратов или департаментов. Мать моя была родом из Швеции, из почтенного рода Мильтопеус. Какой-то из ее прадедов был лютеранским епископом, а дяди — учеными. Это доказывает прибавление окончания *еус*, что учеными

³ Мой отец рассказывал странный эпизод из своего детства. Когда ему было лет 10, он шел зимой рано утром (около 7-ми) в свою школу по набережной Фонтанки. Около Аничкова дворца к нему подошел какой-то высокий, хорошо одетый господин, рядом с которым стояла бедно одетая женщина. Господин остановил мальчика и сказал: «Хочешь сделать доброе дело, пойдем со мной и будь крестным отцом моего сына; а это твоя кума», — прибавил он, указывая на старушку. Отец мой был смелый мальчик и, не колеблясь нимало, пошел за господином и старушкой. Пришли в какой-то богатый дом, где ожидал священник, и тотчас началось крещение младенца. После того как ребенка окрестили, священника, кума и куму угостили чаем и сладями, а господин дал обоим кумовьям по червонцу. Так как папа опоздал в школу, то вернулся домой и рассказал, что с ним случилось. Ему объяснили, что существует поверье, что если все дети в семье умирают, то, чтобы новорожденный остался жить, надо, чтобы его окрестили первые люди, которые попадутся отцу ребенка навстречу. Такою кумою попалась навстречу старушка, а кумом явился папа. Впоследствии мой отец получал на Рождество и святую подарки от своего крестника, а раз был позван, чтобы благословить крестника, когда тот был болен при смерти. Существует также поверье, что молитва и благословение крестного отца и матери спасают младенца от смерти. Крестник поправился. Впоследствии отец мой потерял своего крестника из виду; отец называл его фамилию, но я ее забыла. (Прим. А. Г. Достоевской.)

делалось из какого-то кокетства, вроде прибавления частицы *де* или *фон*. Жили прадеды в Або и погребены в стенах тамошнего знаменитого собора. Посетив однажды Або, проездом в Швецию, я попыталась было найти в соборе могилы предков, но так как не знала ни финского, ни шведского языка, то не могла от сторожа добиться никаких сведений.

Отец моей матери, Николай Мильтопеус, был помещиком в Санкт-Михельской губернии, и вся семья жила в имении, кроме сына Романа Николаевича, который воспитывался в Московском землемерном институте. Когда он окончил курс и получил место в Петербурге, то продал имение отца (к тому времени умершего) и перевез всю семью в Петербург. Здесь моя бабушка Анна-Мария Мильтопеус вскоре скончалась, а моя мать с двумя сестрами осталась жить у брата. Мать моя была женщина поразительной красоты — высокая, тонкая, стройная, с удивительно правильными чертами лица. Обладала она также чрезвычайно красивым сопрано, сохранившимся у ней почти до старости. Родилась она в 1812 году, и когда ей было девятнадцать лет, обручилась с одним офицером. Им не пришлось обвенчаться, так как он принял участие в Венгерской кампании и был там убит. Горе моей матушки было чрезвычайное, и она решила никогда не выходить замуж. Но годы шли, и мало-помалу горечь утраты смягчилась. В том русском обществе, где вращалась моя мать, были любительницы сватать (это было в тогдашних обычаях), и вот на одно собрание, собственно для нее, пригласили двух молодых людей, искавших себе невесту. Мать моя им чрезвычайно понравилась, но когда ее спросили, понравились ли ей представленные молодые люди, то она ответила: «Нет, мне больше понравился тот «старичок», который все время рассказывал и смеялся». Она говорила про моего отца. В прежние времена люди за сорок лет считались уже стариками, а папе тогда было уже 42 года (родился в 1799 г.). Папа весело и приятно провел свою молодость, но под влиянием строгой матери жил сдержанно, а потому в 42 года представлял из себя человека здорового, крепкого, румяного, с прекрасными голубыми глазами

и цельными зубами, но с порядочно поредевшей шевелюрой. До кончины своей матери папа не предполагал обзаводиться семьей, а потому бывал в обществе в качестве приятного собеседника, но отнюдь не жениха. Его тоже представили моей матери, и она ему очень понравилась, но так как она плохо говорила по-русски, а он плохо по-французски, то разговоры между ними не очень затянулись. Когда же ему передали слова моей мамы, то его очень заинтересовало внимание красивой барышни, и он стал усиленно посещать тот дом, где мог с нею встретиться. Кончилось тем, что они полюбили друг друга и решили пожениться. Но пред ними стояло серьезное препятствие: мама была лютеранкой, а, по понятиям папиной православной семьи, жены должны были быть одной веры с мужьями. Дошло до того, что папа решил пойти против семьи и жениться, даже если б пришлось разойтись с некоторыми из ее членов. Мама об этом узнала и, боясь внести раздор в столь дружную семью, долго была в затруднении: перейти ли в православие или отказать от любимого человека. На ее решение повлияло одно обстоятельство: поздно ночью, когда на завтра ей предстояло дать решительный ответ моему отцу, она долго молилась на коленях пред распятием и просила Господа Бога прийти к ней на помощь. Вдруг, подняв голову, она увидела над распятием яркое сияние, которое осветило всю комнату и затем исчезло. Это явление повторилось еще два раза. Моя мать приняла это за указание свыше решить тяготивший ее вопрос в благоприятном для моего отца смысле. В ту же ночь она увидела сон: будто она вошла в православную церковь и стала молиться у плащаницы. Этот сон был тоже принят ею как указание свыше. Можно представить себе ее изумление, когда две недели спустя, приехав на обряд миропомазания в Симеоновскую (на Моховой) церковь, она увидела, что ее поставили у плащаницы и что окружающая обстановка совершенно та же самая, какую она видела во сне. Это успокоило ее совесть. Сделавшись православной, моя мать стала ревностно исполнять обряды церкви, говела, причащалась, но молитвы на славянском языке ею трудно усваивались, и она

молилась по шведскому молитвеннику. Она никогда не раскаивалась в том, что переменяла религию, «иначе, — говорила она, — я бы чувствовала себя далеко от мужа и детей, а это было бы мне тяжело».

Прожили мои родители вместе около двадцати пяти лет и жили очень дружно, так как сошлись характерами. Главою дома была моя мать, обладавшая сильною волей; папа добровольно подчинился маме и отвоевал себе лишь одно: свободу разыскивать и покупать на Апраксиной и других рынках (антиквариетов тогда было масса) разные редкости и диковинки, а преимущественно ценный фарфор, в котором он понимал толк.

Первые годы своей брачной жизни мои родители прожили вместе с бабушкой и многочисленной семьей. Но когда, лет через пять, бабушка скончалась и семья распалась, моя мать уговорила отца купить дом у Николаевского Сухопутного госпиталя, а вместе с домом громадный участок земли (около двух десятин), занимавший пространство, где теперь Ярославская и Костромская улица, и выходивший на Малую Болотную улицу до самой фабрики Штиглица.

Первое мое сознательное воспоминание относится к апрелю 1849 года, то есть когда мне было два года восемь месяцев. Во дворе нашего дома был ветхий сарай; мама решила его разрушить и построить новый. Рабочие собрались, сделали, что надо, и оставалось только свалить сарай на землю. Моя мать вышла на стеклянную галерею, чтобы посмотреть издали, как это будут делать, а за нею потянулась моя любопытствующая нянюшка со мною на руках. На беду, ломовые извозчики, жившие в глубине двора, замешкались; им кричали, чтобы они скорее проезжали, и они потянулись длинной вереницей. Казалось, что все выехали, но только что артель напрягла все силы, чтоб свалить сарай, как появился запоздавший извозчик. Все поняли, что если он не проскочит, то свалившимся сараем будет наверное убит вместе с своею лошадыо. Раздался страшный треск падающего сарая и крики ужаса присутствовавших, пыль поднялась столбом, и в первую минуту нельзя было разобрать, не случилось ли

беды? К счастью, все обошлось благополучно, но испуганные возгласы мамы и няньки так на меня подействовали, что я закричала благим матом. Когда я впоследствии расспрашивала о том времени, то отец мой, посмотрев хозяйственные книги, удостоверил, что постройка нового сарая была произведена весной 1849 года.

Второе сознательное воспоминание относится к моей болезни, случившейся, когда мне было три года. Не знаю, чем я была больна, но доктор приказал поставить мне на грудь несколько пиявок. Я живо помню, как отвратительны были для меня эти извивающиеся червяки, как я их боялась и как старалась оторвать их от груди. Ясно помню также, как возила меня моя мама причастить и помолиться перед чудотворной иконой о всех Скорбящей Божией Матери (на Шпалерной). Видя, что мама и няня молятся и плачут, я крестилась и тоже заливалась слезами. На другой день после молебна последовал кризис, и я стала быстро поправляться. Вообще дети в нашей семье редко хворали. Случались, конечно, кашли, насморки, но все болезни лечились домашними средствами, и все благополучно проходило.

Я вспоминаю мое детство и юность с самым отрадным чувством: отец и мать нас всех очень любили и никогда не наказывали понапрасну. Жизнь в семье была тихая, размеренная, спокойная, без ссор, драм или катастроф. Кормили нас сытно, водили гулять каждый день, и летом мы с утра до вечера сидели в саду; зимой же катались с ледяной горки, там же устроенной. Игрушками нас не баловали, а потому мы их ценили и берегли. Детских книг совсем не было; нас никто не пытался «развивать». Рассказывали нам иногда сказки, преимущественно отец; вернувшись со службы и пообедав, он ложился на диван, звал к себе детвору и принимался рассказывать. Сказка у него была одна: об Иванушке-дурачке, но вариации были бесчисленны, и мы с братом всегда удивлялись: почему Иванушку называют дурачком, раз он так умно умеет выпутываться из всевозможных бед. Удовольствия доставлялись нам редко: елка на Рожде-

стве, зажигавшаяся каждый вечер, домашнее переряжение; на масляной нас возили на балаганы и катали на вейках. Два раза в год — перед Рождеством и на святой ездили в театр, преимущественно в оперу или балет. Но эти редкие удовольствия нами чрезвычайно ценились, и мы целыми месяцами находились под очарованием виденного нами спектакля. <...>

II Образование

Скажу несколько слов о своем образовании. С девяти до двенадцати лет я ходила в Училище св. Анны (на Кирочной улице). Преподавание всех предметов (кроме Закона Божия) шло на немецком языке, и знание этого языка пригодилось мне впоследствии, когда пришлось провести с мужем несколько лет за границей. В 1858 году в столице открылась первая женская гимназия (Мариинская), и осенью я поступила туда во второй класс. Учиться мне было легко, и при переходе в 3-й и 4-й классы я получала в награду книги, а при окончании курса в 1864 году — большую серебряную медаль. За год перед тем были открыты Н.А. Вышнеградским Педагогические курсы, в которые поступали желающие продолжать свое образование. Осенью 1864 года я тоже поступила на курсы. В то время в обществе существовало увлечение естественными науками; я поддалась течению: физика, химия, зоология представлялись мне каким-то «откровением», и я поступила на физико-математическое отделение курсов. Вскоре, однако, я убедилась, что выбрала не то, что соответствовало моим наклонностям, и что мои занятия имеют лишь печальный результат: при опытах кристаллизации солей, например, я больше занималась чтением романов, чем наблюдением за колбами и ретортами, и они жестоко страдали; пока читались лекции по зоологии, я ими интересовалась, но когда перешли к практическим занятиям и при мне стали препарировать мертвую кошку, я, к большому моему конфузу, от отвращения упала в обморок. Из этого года занятий мне

особенно запомнились лишь талантливые лекции по русской литературе профессора В. В. Никольского, на которых сходились слушательницы обоих отделений.

Летом 1865 года выяснилось прискорбное для меня обстоятельство, что болезнь моего отца не поддается лечению и что ему недолго осталось жить. Тогда я, жалея оставлять моего дорогого больного одного на целые дни, решила на время покинуть курсы. Так как папа страдал бессонницей, то я целыми часами читала ему романы Диккенса и была очень довольна, если он, под мое монотонное чтение, имел возможность немного заснуть.

В начале 1866 года появилось объявление о Курсах стенографии, которые будет читать П. М. Ольхин, в здании 6-й мужской гимназии. Узнав, что лекции предполагаются по вечерам (когда мой дорогой отец уже уходил на покой), я решила поступить на Курсы стенографии. Об этом особенно настаивал отец, очень жалевавший, что я, из-за его болезни, оставила Педагогические курсы. Сначала стенография мне решительно не удалась, и после 5-й или 6-й лекции я пришла к убеждению, что это для меня тарбарская грамота, которую мне ни за что не осилить. Когда я сказала об этом папе, он был очень возмущен: упрекал меня в недостатке терпения, настойчивости и взял с меня слово, что я буду продолжать занятия, выражал свою уверенность, что из меня выработается хороший стенограф. Мой добрый отец точно провидел, что благодаря стенографии я найду свое счастье.

Двадцать восьмого апреля 1866 года последовала кончина моего отца. Это было первое несчастье, которое я испытала в моей жизни. Горе мое выразалось бурно: я много плакала, целые дни проводила на Большой Охте, на могиле покойного, и не могла примириться с тяжелою утратою. Моя мама была встревожена моим тяжелым настроением и умоляла меня приняться за какой-нибудь труд. К сожалению, лекции стенографии уже прекратились, но добрый П. М. Ольхин, наш учитель, узнав о моем горе и пропуске мною многих уроков, предложил заменить их стенографическою с ним перепиской. Два раза в неделю я должна была посылать ему две или три страницы опре-

деленной книги, написанных мною стенографически. Ольхин возвращал мне стенограммы, исправив замеченные им ошибки. Благодаря этой переписке, длившейся в течение трех летних месяцев, я очень успела в стенографии, тем более что мой брат, приехавший на каникулы, диктовал мне почти ежедневно по часу и более, так что я мало-помалу усвоила, кроме правильности стенографического письма, и скорость его. Вот почему, когда в сентябре 1866 года вновь открылись курсы, я оказалась единственной ученицею Ольхина, которую он с доверием мог рекомендовать для литературной работы. <...>



ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЗНАКОМСТВО С ДОСТОЕВСКИМ. ЗАМУЖЕСТВО

I

Третьего октября 1866 года, около семи часов вечера, я, по обыкновению, пришла в 6-ю мужскую гимназию, где преподаватель стенографии П. М. Ольхин читал свою лекцию. Она еще не началась: поджидали опоздавших. Я села на свое обычное место, и только что принялась раскладывать тетради, как ко мне подошел Ольхин и, сев рядом на скамейку, сказал:

— Анна Григорьевна, не хотите ли получить стенографическую работу? Мне поручено найти стенографа, и я подумал, что, может быть, вы согласитесь взять эту работу на себя.

— Очень хочу, — ответила я, — давно мечтаю о возможности работать. Сомневаюсь только, достаточно ли знаю стенографию, чтобы принять на себя ответственное занятие.

Ольхин меня успокоил. По его мнению, предлагаемая работа не потребует большей скорости письма, чем та, какую я владею.

— У кого же предполагается стенографическая работа? — заинтересовалась я.

— У писателя Достоевского. Он теперь занят новым романом и намерен писать его при помощи стенографа. Достоевский думает, что в романе будет около семи печатных листов большого формата, и предлагает за весь труд пятьдесят рублей.

Я поспешила согласиться. Имя Достоевского было знакомо мне с детства: он был любимым писателем моего отца. Я сама восхищалась его произведениями и плакала над «Записками из Мертвого дома». Мысль не только познакомиться с талантливым писателем, но и помогать ему в его труде чрезвычайно меня взволновала и обрадовала.

Ольхин передал мне небольшую, вчетверо сложенную бумажку, на которой было написано: «Столярный переулок, угол М. Мещанской, дом Алонкина, кв. № 13, спросить Достоевского» — и сказал:

— Я прошу вас прийти к Достоевскому завтра, в половине двенадцатого, «не раньше, не позже», как он мне сам сегодня назначил. — Тут же Ольхин высказал мне свое мнение о Достоевском, о чем упомяну при дальнейшем рассказе.

Ольхин посмотрел на часы и взошел на кафедру. Должна признаться, что лекция на этот раз совершенно для меня пропала: я была взволнована и полна радостных чувств. Моя заветная мечта осуществлялась: я получила работу! Если уж Ольхин, такой требовательный и строгий, нашел, что я достаточно знаю стенографию и достаточно скоро пишу, — значит, это правда, иначе он не предоставил бы мне работу. Это чрезвычайно меня обрадовало и возвысило в собственных глазах. Я чувствовала, что вышла на новую дорогу, могу зарабатывать своим трудом деньги, становлюсь независимой, а идея независимости для меня, девушки шестидесятых годов, была самою дорогою идеей. Но еще приятнее и важнее предложенного занятия представлялась мне возможность работать у Достоевского и познакомиться лично с этим писателем.

Вернувшись домой, я обо всем подробно рассказала моей матери. Она тоже была чрезвычайно довольна моей удачей. От радости и волнения я почти всю ночь не спала и все представляла себе Достоевского. Считая его современником моего отца, я полагала, что он уже очень пожилой человек. Он рисовался мне то толстым и лысым стариком, то высоким и худым, но непременно суровым и хмурым, каким нашел его Ольхин. Всего более вол-

новалась я о том, как буду с ним говорить. Достоевский казался мне таким ученым, таким умным, что я заранее трепетала за каждое сказанное мною слово. Смутила меня также мысль, что я нетвердо помню имена и отчества героев его романов, а я была уверена, что он непременно будет о них говорить. Никогда не встречаясь в своем кругу с выдающимися литераторами, я представляла их какими-то особенными существами, с которыми и говорить-то следовало особенным образом. Вспоминая те времена, вижу, каким малым ребенком была я тогда, несмотря на мои двадцать лет.

II

Четвертого октября, в знаменательный день первой встречи с будущим моим мужем, я проснулась бодрая, в радостном волнении от мысли, что сегодня осуществится давно лелеянная мною мечта: из школьницы или курсистки стать самостоятельным деятелем на выбранном мною поприще.

Я вышла пораньше из дому, чтобы зайти предварительно в Гостиный двор и запастись там добавочным количеством карандашей, а также купить себе маленький портфель, который, по моему мнению, мог придать большую деловитость моей юношеской фигуре. Закончила я свои покупки к одиннадцати часам и, чтобы не прийти к Достоевскому «не раньше, не позже»⁴ назначенного времени, замедленными шагами пошла по Большой Мещанской и Столярному переулку, беспрестанно посматривая на свои часики. В двадцать пять минут двенадцатого я подошла к дому Алонкина и у стоявшего в воротах дворника спросила, где квартира № 13. Он показал мне направо, где под воротами был вход на лестницу. Дом был большой, со множеством мелких квартир, населенных купцами и ремесленниками. Он мне

⁴ Это было обычным выражением Федора Михайловича, который, не желая терять времени в ожидании кого-либо, любил назначать точный час свидания и всегда прибавлял при этом: «Не раньше, не позже». (Прим. А. Г. Достоевской.)

сразу напомнил тот дом в романе «Преступление и наказание», в котором жил герой романа Раскольников.

Квартира № 13 находилась во втором этаже. Я позвонила, и мне тотчас отворила дверь пожилая служанка в накинутом на плечи зеленом в клетку платке. Я так недавно читала «Преступление», что невольно подумала, не является ли этот платок прототипом того драдедамового платка, который играл такую большую роль в семье Мармеладовых. На вопрос служанки, кого мне угодно видеть, я ответила, что пришла от Ольхина и что ее барин предупрежден о моем посещении.

Не успела я снять свой башлык, как дверь в прихожую распахнулась, и на фоне ярко освещенной комнаты показался молодой человек, сильный брюнет, с взлохмаченными волосами, с раскрытой грудью и в туфлях. Увидав незнакомое лицо, он вскрикнул и мигом исчез в боковую дверь.

Служанка пригласила меня в комнату, которая оказалась столовою. Обставлена она была довольно скромно: по стенам стояли два больших сундука, прикрытые небольшими коврами. У окна находился комод, украшенный белой вязаной покрывалкой. Вдоль другой стены стоял диван, а над ним висели стенные часы. Я с удовольствием заметила, что на них в ту минуту было ровно половина двенадцатого.

Служанка просила меня сесть, сказав, что барин сейчас придет. Действительно, минуты через две появился Федор Михайлович, пригласил меня пройти в кабинет, а сам ушел, как оказалось потом, чтобы приказать подать нам чаю.

Кабинет Федора Михайловича представлял собою большую комнату в два окна, в тот солнечный день очень светлую, но в другое время производившую тяжелое впечатление: в ней было сумрачно и безмолвно; чувствовалась какая-то подавленность от этого сумрака и тишины.

В глубине комнаты стоял мягкий диван, покрытый коричневой, довольно подержанной материей; пред ним круглый стол с красной суконной салфеткой. На столе лампа и два-три альбома; кругом мягкие стулья и кресла. Над диваном в ореховой раме

висел портрет чрезвычайно сухощавой дамы в черном платье и таком же чепчике. «Наверно, жена Достоевского», — подумала я, не зная его семейного положения.

Между окнами стояло большое зеркало в черной раме. Так как простенок был значительно шире зеркала, то, для удобства, оно было придвинуто ближе к правому окну, что было очень некрасиво. Окна украшались двумя большими китайскими вазами прекрасной формы. Вдоль стены стоял большой диван зеленого сафьяна и около него столик с графином воды. Напротив, поперек комнаты, был выдвинут письменный стол, за которым я потом всегда сидела, когда Федор Михайлович мне диктовал. Обстановка кабинета была самая заурядная, какую я видала в семьях небогатых людей.

Я сидела и прислушивалась. Мне все казалось, что вот сейчас я услышу крик детей или шум детского барабана; или отворится дверь и войдет в кабинет та сухощавая дама, портрет которой я только что рассматривала.

Но вот вошел Федор Михайлович и, извинившись, что его задержали, спросил меня:

— Давно ли вы занимаетесь стенографией?

— Всего полгода.

— А много ли учеников у вашего преподавателя?

— Сначала записалось более ста пятидесяти желающих, а теперь осталось около двадцати пяти.

— Почему же так мало?

— Да многие думали, что стенографии очень легко научиться, а как увидели, что в несколько дней ничего не сделаешь, то и бросили занятия.

— Это у нас в каждом новом деле так, — сказал Федор Михайлович, — с жаром примутся, потом быстро охлаждаются и бросают дело. Видят, что надо трудиться, а трудиться теперь кому же охота?

С первого взгляда Достоевский показался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более тридцати пяти — семи

лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были сильно напوماжены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза; они были разные: один — карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужины незаметно⁵. Эта двойственность глаз придавала взгляду Достоевского какое-то загадочное выражение. Лицо Достоевского, бледное и болезненное, показалось мне чрезвычайно знакомым, вероятно, потому, что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье (воротничке и манжетах).

Через пять минут вошла служанка и принесла два стакана очень крепкого, почти черного чая. На подносе лежали две булочки. Я взяла стакан. Мне не хотелось чаю, к тому же в комнате было жарко, но чтобы не показаться церемонной, я принялась пить. Сидела я у стены перед небольшим столиком, а Достоевский то садился за свой письменный стол, то расхаживал по комнате и курил, часто гася папиросу и закуривая новую. Предложил он и мне курить. Я отказалась.

— Может быть, вы из вежливости отказываетесь? — сказал он.

Я поспешила его уверить, что не только не курю, но даже не люблю видеть, когда курят дамы.

Разговор шел отрывочный, причем Достоевский то и дело переходил на новую тему. Он имел разбитый и больной вид. Чуть ли не с первых фраз заявил он, что у него эпилепсия и на днях был припадок, и эта откровенность меня очень удивила. О предстоящей работе Достоевский говорил как-то неопределенно:

— Мы посмотрим, как это сделать, мы попробуем, мы увидим, возможно ли это?

⁵ Во время приступа эпилепсии Федор Михайлович, падая, наткнулся на какой-то острый предмет и сильно поранил свой правый глаз. Он стал лечиться у проф. Юнге, и тот предписал впускать в глаз капли атропина, благодаря чему зрачок сильно расширился. (Прим. А. Г. Достоевской.)

Мне начало казаться, что навряд ли наша совместная работа состоится. Даже пришло в голову, что Достоевский сомневается в возможности и удобстве для него этого способа работы и, может быть, готов отказаться. Чтобы ему помочь в решении, я сказала:

— Хорошо, попробуем, но если вам при моей помощи работать будет неудобно, то прямо скажите мне об этом. Будьте уверены, что я не буду в претензии, если работа не состоится.

Достоевский захотел продиктовать мне из «Русского вестника» и просил перевести стенограмму на обыкновенное письмо. Начал он чрезвычайно быстро, но я его остановила и просила диктовать не скорее обыкновенной разговорной речи.

Затем я стала переводить стенографическую запись на обыкновенную и довольно скоро переписала, но Достоевский все торопил меня и ужасался, что я слишком медленно переписываю.

— Да ведь переписывать продиктованное я буду дома, а не здесь, — успокаивала я его, — не все ли вам равно, сколько времени возьмет у меня эта работа?

Просматривая переписанное, Достоевский нашел, что я пропустила точку и неясно поставила твердый знак, и резко мне об этом заметил. Он был, видимо, раздражен и не мог собраться с мыслями. То спрашивал, как меня зовут, и тотчас забывал, то принимался ходить по комнате, ходил долго, как бы забыв о моем присутствии. Я сидела не шевелясь, боясь нарушить его раздумье.

Наконец Достоевский сказал, что диктовать он сейчас решительно не в состоянии, а что не могу ли я прийти к нему сегодня же часов в восемь. Тогда он и начнет диктовать роман. Для меня было очень неудобно приходиться во второй раз, но, не желая откладывать работы, я на это согласилась.

Прощаясь со мною, Достоевский сказал:

— Я был рад, когда Ольхин предложил мне девицу-стенографа, а не мужчину, и знаете почему?

— Почему же?

— Да потому, что мужчина, уж наверно бы, запил, а вы, я надеюсь, не запьете?

Мне стало ужасно смешно, но я сдержала улыбку.

— Уж я-то наверно не запью, в этом вы можете быть уверены, — серьезно ответила я.

III

Я вышла от Достоевского в очень печальном настроении. Он мне не понравился и оставил тяжелое впечатление. Я думала, что навряд ли сойду с ним в работе, и мечты мои о независимости грозили рассыпаться прахом... Мне это было тем больнее, что вчера моя добрая мама так радовалась началу моей новой деятельности.

Было около двух часов, когда я ушла от Достоевского. Ехать домой было слишком далеко: я жила под Смольным, на Костромской улице, в доме моей матери, Анны Николаевны Сниткиной. Я решила пойти к одним родственникам, жившим в Фонарном переулке, пообедать у них и вечером вернуться к Достоевскому.

Родственники мои очень заинтересовались моим новым знакомым и стали подробно расспрашивать о Достоевском. Время быстро прошло в разговорах, и к восьми часам я уже подходила к дому Алонкина. Отворившую мне дверь служанку я спросила, как зовут ее барина. Из подписи под его произведениями я знала, что его имя Федор, но не знала его отчества. Федосья (так звали служанку) опять попросила меня подождать в столовой и пошла доложить о моем приходе. Вернувшись, она пригласила меня в кабинет. Я поздоровалась с Федором Михайловичем и села на мое давешнее место около небольшого столика. Но Федору Михайловичу это не понравилось, и он предложил мне пересесть за его письменный стол, уверяя, что мне будет на нем удобнее писать. Признаюсь, что я почувствовала себя чрезвычайно польщенной его предложением заниматься за тем столом, где еще недавно было написано такое талантливое произведение, как роман «Преступление и наказание».

Я пересела, а Федор Михайлович занял мое место у столика. Он опять осведомился о моем имени и фамилии и спросил, не

прихожусь ли я родственницей недавно скончавшемуся молодому и талантливому писателю Сниткину. Я ответила, что это однофамилец. Он стал расспрашивать, из кого состоит моя семья, где я училась, что заставило меня заняться стенографией и пр.

На все вопросы я отвечала просто, серьезно, почти сурово, как уверял меня потом Федор Михайлович. Я давно уже решила, в случае, если придется стенографировать в частных домах, с первого раза поставить свои отношения к малознакомым мне лицам на деловой тон, избегая фамильярности, чтобы никому не могло прийти желание сказать мне лишнее или вольное слово. Я, кажется, даже ни разу не улыбнулась, говоря с Федором Михайловичем, и моя серьезность ему очень понравилась. Он признавался мне потом, что был приятно поражен моим умением себя держать. Он привык встречать в обществе нигилисток и видеть их обращение, которое его возмущало. Тем более был он рад встретить во мне полную противоположность господствовавшему тогда типу молодых девушек.

Тем временем Федосья приготовила в столовой чай и принесла нам два стакана, две булочки и лимон. Федор Михайлович вновь предложил мне курить и стал угощать меня грушами.

За чаем беседа наша приняла еще более искренний и добродушный тон. Мне вдруг показалось, что я давно уже знаю Достоевского, и на душе стало легко и приятно.

Почему-то разговор коснулся петрашевцев и смертной казни. Федор Михайлович увлекся воспоминаниями.

— Помню, — говорил он, — как стоял на Семеновском плацу среди осужденных товарищей и, видя приготовления, знал, что мне остается жить всего пять минут. Но эти минуты представлялись мне годами, десятками лет, так, казалось, предстояло мне долго жить! На нас уже одели смертные рубашки и разделили по трое, я был восьмым, в третьем ряду. Первых трех привязали к столбам. Через две-три минуты оба ряда были бы расстреляны, и затем наступила бы наша очередь. Как мне хотелось жить, господи боже мой! Как дорога казалась жизнь, сколько доброго, хорошего мог бы я сделать! Мне припомнилось все мое

прошлое, не совсем хорошее его употребление, и так захотелось все вновь испытать и жить долго, долго... Вдруг послышался отбой, и я ободрился. Товарищей моих отвязали от столбов, привели обратно и прочитали новый приговор: меня присудили на четыре года в каторжную работу. Не запомню другого такого счастливого дня! Я ходил по своему каземату в Алексеевском равелине и все пел, громко пел, так рад был дарованной мне жизни! Затем допустили брата проститься со мною перед разлукой и накануне Рождества Христова отправили в дальний путь. Я сохраняю письмо, которое написал покойному брату в день прочтения приговора, мне недавно вернул письмо племянник.

Рассказ Федора Михайловича произвел на меня жуткое впечатление: у меня прошел мороз по коже. Но меня чрезвычайно поразило и то, что он так откровенен со мной, почти девочкой, которую он увидел сегодня в первый раз в жизни. Этот по виду скрытный и суровый человек рассказывал мне прошлую жизнь свою с такими подробностями, так искренно и задушевно, что я невольно удивилась. Только впоследствии, познакомившись с его семейною обстановкою, я поняла причину этой доверчивости и откровенности: в то время Федор Михайлович был совершенно одинок и окружен враждебно настроенными против него лицами. Он слишком чувствовал потребность поделиться своими мыслями с людьми, в которых ему чудилось доброе и внимательное отношение. Откровенность эта в тот первый день моего с ним знакомства чрезвычайно мне понравилась и оставила чудесное впечатление.

Разговор наш переходил с одной темы на другую, а работать мы все еще не начинали. Меня это беспокоило: становилось поздно, а мне далеко было возвращаться. Матери моей я обещала вернуться домой прямо от Достоевского и теперь боялась, что она станет обо мне беспокоиться. Мне казалось неудобным напомнить Федору Михайловичу о цели моего прихода к нему, и я очень обрадовалась, когда он сам о ней вспомнил и предложил мне начать диктовать. Я приготовилась, а Федор Михайлович принялся ходить по комнате довольно быстрыми шагами,

наискось от двери к печке, причем, дойдя до нее, непременно стучал об нее два раза. При этом он курил, часто меняя и бросая недокуренную папиросу в пепельницу, стоявшую на кончике письменного стола.

Продиктовав несколько времени, Федор Михайлович попросил меня прочесть ему написанное и с первых же слов меня остановил:

— Как «воротилась из Рулетенбурга»?⁶ Разве я говорил про Рулетенбург?

— Да, Федор Михайлович, вы продиктовали это слово.

— Не может быть!

— Позвольте, имеется ли в вашем романе город с таким названием?

— Да. Действие происходит в игорном городе, который я назвал Рулетенбургом.

— А если имеется, то вы, несомненно, это слово продиктовали, иначе откуда бы я могла его взять?

— Вы правы, — сознался Федор Михайлович, — я что-то напутал.

Я была очень довольна, что недоразумение разъяснилось. Думаю, что Федор Михайлович был слишком поглощен своими мыслями, а может быть, за день очень устал, оттого и произошла ошибка. Он, впрочем, и сам это почувствовал, так как сказал, что не в состоянии больше диктовать, и просил принести продиктованное завтра к двенадцати часам. Я обещала исполнить его просьбу.

Пробило одиннадцать, и я собралась уходить. Узнав, что я живу на Песках, Федор Михайлович сказал, что ему ни разу еще не приходилось бывать в этой части города и он не имеет понятия, где находятся Пески. Если это далеко, то он может послать свою прислугу проводить меня. Я, разумеется, отказалась.

⁶ Это было обычным выражением Федора Михайловича, который, не желая терять времени в ожидании кого-либо, любил назначать точный час свидания и всегда прибавлял при этом: «Не раньше, не позже». (Прим. А. Г. Достоевской.)

Федор Михайлович проводил меня до двери и велел Федосье посветить мне на лестнице.

Дома я с восторгом рассказала маме, как откровенен и добр был со мною Достоевский, но, чтобы ее не огорчать, скрыла то тяжелое, никогда еще не испытанное мною впечатление, которое осталось у меня от всего этого так интересно проведенного дня. Впечатление же было поистине угнетающее: в первый раз в жизни я видела человека умного, доброго, но несчастного, как бы всеми заброшенного, и чувство глубокого сострадания и жалости зародилось в моем сердце...

Я была очень утомлена и поскорее легла в постель, прося разбудить меня пораньше, чтобы успеть переписать все продиктованное и доставить его Федору Михайловичу в назначенный час.

IV

На другой день я встала рано и тотчас принялась за работу. Продиктовано было сравнительно немного, но мне хотелось красивее и отчетливее переписать, и это заняло время. Как я ни спешила, но опоздала на целых полчаса.

Федора Михайловича я нашла в большом волнении.

— Я уже начинал думать, — сказал он, здороваясь, — что работа у меня показалась вам тяжелою и вы больше не придете. Между тем я вашего адреса не записал и рисковал потерять то, что вчера было продиктовано.

— Мне очень совестно, что я так запоздала, — извинялась я, — но уверяю вас, что если бы мне пришлось отказаться от работы, то я, конечно, уведомила бы вас и доставила бы продиктованный оригинал.

— Я оттого так беспокоюсь, — объяснял Федор Михайлович, — что мне необходимо написать этот роман к первому ноября, а между тем я не составил даже плана нового романа. Знаю лишь, что ему следует быть не менее семи листов издания Стелловского.

Я стала расспрашивать подробности, и Федор Михайлович объяснил мне поистине возмутительную ловушку, в которую его поймали.

По смерти своего старшего брата Михаила Федор Михайлович принял на себя все долги по журналу «Время», издававшемуся его братом. Долги были вексельные, и кредиторы страшно беспокоили Федора Михайловича, грозя описать его имущество, а самого посадить в долговое отделение. В те времена это было возможно сделать.

Неотложных долгов было тысяч до трех. Федор Михайлович всюду искал денег, но без благоприятного результата. Когда все попытки уговорить кредиторов оказались напрасными и Федор Михайлович был доведен до отчаяния, к нему неожиданно явился издатель Ф. Т. Стелловский с предложением купить за три тысячи права на издание полного собрания сочинений в трех томах. Мало того, Федор Михайлович обязан был в счет той же суммы написать новый роман.

Положение Федора Михайловича было критическое, и он согласился на все условия контракта, лишь бы избавиться от угрожавшего ему лишения свободы.

Условие было заключено <летом> 186<5> года, и Стелловский внес у нотариуса условленную сумму. Эти деньги на другой же день были уплачены кредиторам; таким образом, Федору Михайловичу не досталось ничего на руки. Обиднее же всего было то, что через несколько дней все эти деньги вновь вернулись к Стелловскому. Оказалось, что он скупил за бесценок векселя Федора Михайловича и чрез двух подставных лиц взыскивал с него деньги. Стелловский был хитрый и ловкий эксплуататор наших литераторов и музыкантов (Писемского, Крестовского, Глинки). Он умел подстергать людей в тяжелые минуты и ловить их в свои сети. Цена три тысячи за право издания была слишком незначительна ввиду того успеха, который имели романы Достоевского. Самое же тяжелое условие заключалось в обязательстве доставить новый роман к 1 ноября 1866 года. В случае недоставления к сроку Федор Михайлович платил бы большую

неустойку; если же не доставил бы роман и к 1 декабря того же года, то терял бы права на свои сочинения, которые перешли бы навсегда в собственность Стелловского. Разумеется, хищник на это и рассчитывал.

Федор Михайлович в 1866 году поглощен был работою над романом «Преступление и наказание» и хотел закончить его художественно. Где же было ему, больному человеку, написать еще столько листов нового произведения?

Вернувшись осенью из Москвы, Федор Михайлович пришел в отчаяние от невозможности в какие-нибудь полтора-два месяца выполнить условия заключенного со Стелловским контракта. Друзья Федора Михайловича — А. Н. Майков, А. П. Милюков, И. Г. Долгомостьев и другие, желая выручить его из беды, предлагали ему составить план романа. Каждый из них взял бы на себя часть романа, и втроем-вчетвером они успели бы кончить работу к сроку; Федору же Михайловичу оставалось бы только проредактировать роман и сгладить неизбежные при такой работе шероховатости. Федор Михайлович отказался от этого предложения: он решил лучше уплатить неустойку или потерять литературные права, чем поставить свое имя под чужим произведением⁷. Тогда друзья стали советовать Федору Михайловичу обратиться к помощи стенографа. А. П. Милюков припомнил, что ему знаком преподаватель стенографии П. М. Ольхин, съездил к нему и попросил побывать у Федора Михайловича, который, хоть и сильно сомневался в успехе для него подобной работы, тем не менее, ввиду близости срока, решился прибегнуть к помощи стенографа.

Как ни мало я знала в то время людей, но образ действий Стелловского меня чрезвычайно возмутил.

Подали чай, и Федор Михайлович принялся мне диктовать. Ему, видимо, трудно было втянуться в работу: он часто останав-

⁷ Об этом А. П. Милюков упоминает в своих воспоминаниях («Исторический вестник», 1881). (Прим. А. Г. Достоевской.)

ливался, обдумывал, просил прочесть продиктованное и через час объявил, что утомился и хочет отдохнуть.

Начался разговор, как и вчера. Федор Михайлович был встревожен и переходил от одного сюжета к другому. Опять спросил, как меня зовут, и через минуту забыл. Раза два предложил мне папиросу, хотя уже слышал, что я не курю.

Я стала расспрашивать его о наших писателях, и он оживился. Отвечая на мои вопросы, он как бы отвлекся от своих неотвязных дум и говорил спокойно, даже весело. Кое-что я запомнила из его тогдашнего разговора.

Некрасова Федор Михайлович считал другом своей юности и высоко ставил его поэтический дар. Майкова он любил не только как талантливое поэта, но и как умнейшего и прекраснейшего из людей. О Тургеневе отзывался как о первостепенном таланте. Жалел лишь, что он, живя долго за границей, стал меньше понимать Россию и русских людей.

После небольшого отдыха мы вновь принялись за работу. Федор Михайлович стал опять раздражаться и тревожиться: работа, видимо, ему не удавалась. Объясняю это непривычкою диктовать свое произведение малознакомому лицу.

Около четырех часов я собралась уходить, обещая завтра к двенадцати часам принести продиктованное. На прощанье Федор Михайлович вручил мне стопку плотной почтовой бумаги с едва заметными линейками, на которой он обычно писал, и указал, какие именно следует оставлять на ней поля.

V

Так началась и продолжалась наша работа. Я приходила к Федору Михайловичу к двенадцати часам и оставалась до четырех. В течение этого времени мы раза три диктовали по полчаса и более, а между диктовками пили чай и разговаривали. Я стала с радостью замечать, что Федор Михайлович начинает привыкать к новому для него способу работы и с каждым моим приходом становится спокойнее. Это сделалось особенно заметным с того

времени, когда, сосчитав, сколько моих исписанных страниц составляют одну страницу издания Стелловского, я могла точно определить, сколько мы уже успели продиктовать. Все прибавлявшееся количество страниц чрезвычайно ободряло и радовало Федора Михайловича. Он часто меня спрашивал: «А сколько страниц мы вчера написали? А сколько у нас в общем сделано? Как думаете, кончим к сроку?»

Дружески со мной разговаривая, Федор Михайлович каждый день раскрывал передо мною какую-нибудь печальную картину своей жизни. Глубокая жалость невольно закрадывалась в мое сердце при его рассказах о тяжелых обстоятельствах, из которых он, по-видимому, никогда не выходил, да и выйти не мог.

Сначала мне казалось странным, что я не видела никого из его домашних. Я не знала, из кого состоит его семья и где она теперь находится. Только одного члена его семьи я встретила, кажется, в четвертый мой приход. Кончив работу, я выходила из ворот дома, как меня остановил какой-то молодой человек, в котором я узнала юношу, виденного мною в передней в первое мое посещение Федора Михайловича. Вблизи он показался мне еще некрасивее, чем издали. У него было смуглое, почти желтое лицо, черные глаза с желтыми белками и пожелтевшие от табака зубы.

— Вы меня не узнали? — развязно спросил меня молодой человек. — Я видел вас у папá. Мне не хочется входить во время ваших занятий, но мне любопытно бы знать, что это за штука стенография, тем более что я сам начну изучать ее на днях. Позвольте. — И он бесцеремонно взял из моих рук портфель, раскрыл его и тут же, на улице стал рассматривать стенограмму. Я так растерялась от подобной бесцеремонности, что не протестовала.

— Курьезная штука, — небрежно протянул он, возвращая портфель. «Неужели у такого милого и доброго человека, как Федор Михайлович, может быть такой невоспитанный сын», — подумала я.

Федор Михайлович с каждым днем относился ко мне все сердечнее и добрее. Он часто называл меня «голубчиком» (его

любимое ласкательное название), «доброй Анной Григорьевной», «милочкой», и я относила эти слова к его снисходительности ко мне, как к молодой девушке, почти что девочке. Мне так приятно было облегчать его труд и видеть, как мои уверения, что работа идет успешно и что роман поспеет вовремя, радовали Федора Михайловича и поднимали в нем дух. Я очень гордилась про себя, что не только помогаю в работе любимому писателю, но и действую благотворно на его настроение. Все это возвышало меня в собственных глазах.

Я перестала бояться «известного писателя» и говорила с ним свободно и откровенно, как с дядей или старым другом. Я расспрашивала Федора Михайловича о разных событиях его жизни, и он охотно удовлетворял мое любопытство. Рассказывал подробно о своем восьмимесячном заключении в Петропавловской крепости, о том, как переговаривался через стену стуками с другими заключенными. Говорил о своей жизни в каторге, о преступниках, одновременно с ним отбывавших свое наказание. Вспоминал о загранице, о своих путешествиях и встречах; о московских родных, которых очень любил. Сообщил мне как-то, что был женат, что жена его умерла три года тому назад, и показал ее портрет. Он мне не понравился: покойная Достоевская, по его словам, снималась тяжело больной, за год до смерти, и имела страшный, почти мертвый вид. Тогда же я с удовольствием узнала, что бесцеремонный молодой человек, который мне так не понравился, не сын Федора Михайловича, а его пасынок, сын его жены от первого брака с Александром Ивановичем Исаевым. Часто жаловался Федор Михайлович и на свои долги, безденежье и тяжелое материальное положение. В дальнейшем мне пришлось даже быть свидетельницей его денежных затруднений⁸.

⁸ Как-то раз, придя заниматься, я заметила исчезновение одной из прелестных китайских ваз, подаренных Федору Михайловичу его сибирскими друзьями. Я спросила: «Неужели разбили вазу?» — «Нет, не разбили, — ответил Федор Михайлович, — а отнесли в заклад. Экстренно понадобились двадцать пять рублей, и пришлось вазу заложить». Дня через три та же участь постигла и другую вазу.

Все рассказы Федора Михайловича носили такой грустный характер, что как-то раз я не выдержала и спросила:

— Зачем, Федор Михайлович, вы вспоминаете только об одних несчастиях? Расскажите лучше, как вы были счастливы.

— Счастлив? Да счастья у меня еще не было, по крайней мере, такого счастья, о котором я постоянно мечтал. Я его жду. На днях я писал моему другу, барону Врангелю, что, несмотря на все постигшие меня горести, я все еще мечтаю начать новую, счастливую жизнь⁹.

Тяжело мне было <это> услышать! Странно казалось, что в его уже почти старые годы этот талантливый и добрый человек не нашел еще желаемого им счастья, а лишь мечтал о нем.

Как-то раз Федор Михайлович подробно рассказал мне, как сватался к Анне Васильевне Корвин-Круковской, как рад был, получив согласие этой умной, доброй и талантливой девушки, и как грустно было ему вернуть ей слово, сознав, что при противоположных убеждениях их взаимное счастье невозможно.

Однажды, находясь в каком-то особенном тревожном настроении, Федор Михайлович поведал мне, что стоит в настоящий момент на рубеже и что ему представляются три пути: или поехать на Восток, в Константинополь и Иерусалим, и, может быть, там навсегда остаться; или поехать за границу на рулетку и погрузиться всею душою в так захватывающую его всегда игру; или, наконец, жениться во второй раз и искать счастья и радости в семье. Решение этих вопросов, которые должны были

В другой раз, кончив стенографировать и проходя через столовую, я заметила на накрытом для обеда столе у прибора деревянную ложку и сказала, смеясь, провожавшему меня Федору Михайловичу: «А я знаю, что вы сегодня будете есть гречневую кашу». — «Из чего вы это заключаете?» — «Да глядя на ложку. Ведь, говорят, гречневую кашу всего вкуснее есть деревянной ложкой». — «Ну и ошиблись: понадобились деньги, я и послал заложить серебряные. Но за разрозненную дюжину дают гораздо меньше, чем за полную, пришлось отдать и мою».

К своим денежным затруднениям Федор Михайлович всегда относился чрезвычайно добродушно. (Прим. А. Г. Достоевской.)

⁹ Письмо к бар. А. Е. Врангелю, помещенное в «Биографии» на стр. (288). (Прим. А. Г. Достоевской.)

коренным образом изменить его столь неудачно сложившуюся жизнь, очень заботило Федора Михайловича, и он, видя меня дружески к нему расположенной, спросил меня, что бы я ему посоветовала?

Признаюсь, его столь доверчивый вопрос меня очень затруднил, так как и желание его ехать на Восток¹⁰, и желание стать игроком показались мне неясными и как бы фантастическими; зная, что среди моих знакомых и родных существуют счастливые семьи, я дала ему совет жениться вторично и найти в семье счастье.

— Так вы думаете, — спросил Федор Михайлович, — что я могу еще жениться? Что за меня кто-нибудь согласится пойти? Какую же жену мне выбрать: умную или добрую?

— Конечно, умную.

— Ну нет, если уж выбирать, то возьму добрую, чтоб меня жалела и любила.

По поводу своей предполагаемой женитьбы Федор Михайлович спросил меня: почему я не выхожу замуж? Я ответила, что ко мне сватаются двое, что оба прекрасные люди и я их очень уважаю, но любви к ним не чувствую, а мне хотелось бы выйти замуж по любви.

— Непременно по любви, — горячо поддержал меня Федор Михайлович, — для счастливого брака одного уважения недостаточно!

VI

Как-то раз, в половине октября, во время нашей работы в дверях кабинета неожиданно появился А. Н. Майков. Я видела его портреты, а потому сразу узнала.

¹⁰ Что у Федора Михайловича было серьезное намерение поехать на Восток, о том свидетельствует найденное в его бумагах рекомендательное письмо к А. С. Энгельгардту (представителю императорской российской миссии в Константинополе), данное ему Е. П. Ковалевским, тогдашним председателем Литературного фонда. Письмо помечено 3 июня 186<3>. (Прим. А. Г. Достоевской.)

— Ну и патриархально же вы живете, — шутливо заметил он Федору Михайловичу, — дверь на лестницу открыта, прислуги не видно, хоть весь дом унеси!

Федор Михайлович, видимо, обрадовался Майкову. Он поспешил нас познакомить, назвав меня «своей ревностной сотрудницей», что мне было очень приятно. Аполлон Николаевич, услышав мою фамилию, осведомился, не приходится ли мне родственником недавно умерший писатель Сниткин (обычный тогда вопрос при встречах моих с писателями), а затем заторопился уходить, говоря, что боится помешать нашей работе. Я предложила сделать перерыв, и Федор Михайлович увел Майкова в соседнюю комнату. Они разговаривали минут двадцать, а я тем временем переписывала продиктованное.

Майков вернулся в кабинет проститься со мной и попросил Федора Михайловича что-нибудь мне продиктовать. В то время стенография была новинкой и всех интересовала. Федор Михайлович исполнил его желание и продиктовал полстраницы романа. Я тотчас прочла вслух записанное. Майков внимательно рассматривал стенограмму, повторяя:

— Ну, уж тут я ничего не понимаю!

Аполлон Николаевич мне очень понравился. Я и прежде любила его как поэта, а похвалы Федора Михайловича, называвшего его добрым, прекрасным человеком, еще более укрепили приятное впечатление.

Чем дальше шло время, тем более Федор Михайлович втягивался в работу. Он уже не диктовал мне изустно, тут же сочиняя, а работал ночью и диктовал мне по рукописи. Иногда ему удавалось написать так много, что мне приходилось сидеть далеко за полночь, переписывая продиктованное. Зато с каким торжеством объявляла я назавтра количество прибавившихся листков! Как приятно было мне видеть радостную улыбку Федора Михайловича в ответ на мои уверения, что работа идет успешно и что, нет сомнения, будет окончена к сроку.

Оба мы вошли в жизнь героев нового романа, и у меня, как и у Федора Михайловича, появились любимцы и недруги. Мои

симпатии заслужила бабушка, проигравшая состояние, и мистер Астлей, а презрение — Полина и сам герой романа, которому я не могла простить его малодушия и страсти к игре. Федор Михайлович был вполне на стороне «игрока» и говорил, что многое из его чувств и впечатлений испытал сам на себе. Уверял, что можно обладать сильным характером, доказать это своею жизнью и тем не менее не иметь сил побороть в себе страсть к игре на рулетке.

Подчас я удивлялась своей смелости высказывать свои взгляды по поводу романа, а еще более той снисходительности, с которой талантливый писатель выслушивал эти почти детские замечания и рассуждения. За эти три недели совместной работы все мои прежние интересы отошли на второй план. Лекций стенографии я, с согласия Ольхина, не посещала, знакомых редко видела и вся сосредоточилась на работе и на тех в высшей степени интересных беседах, которые мы вели, отдыхая от диктовки. Невольно сравнивала я Федора Михайловича с теми молодыми людьми, которых мне приходилось встречать в своем кружке. Как пусты и ничтожны казались мне их разговоры в сравнении со всегда новыми и оригинальными взглядами моего любимого писателя.

Уходя от него под впечатлением новых для меня идей, я скупала дома и жила ожиданием завтрашней встречи с Федором Михайловичем. С грустью видела я, что работа близится к концу и наше знакомство должно прекратиться. Как же я была удивлена и обрадована, когда Федор Михайлович высказал ту же беспокоившую меня мысль.

— Знаете, Анна Григорьевна¹¹, о чем я думаю? Вот мы с вами так сошлись, так дружелюбно каждый день встречаемся, так привыкли оживленно разговаривать; неужели же теперь, с написанием романа, все это кончится? Право, это жаль! Мне вас очень будет недоставать. Где же я вас увижу?

¹¹ Только к концу месяца Федор Михайлович запомнил мое имя, а то все забывал и меня о нем переспрашивал. (Прим. А. Г. Достоевской.)

— Но, Федор Михайлович, — смущенно отвечала я, — гора с горой не сходится, а человеку с человеком нетрудно встретиться.

— Но где же, однако?

— Да где-нибудь в обществе, в театре, в концерте...

— Вы же знаете, что я в обществе и театрах бываю редко.

Да и что это за встречи, когда слова не удастся иногда сказать. Отчего вы не пригласите меня к себе, в вашу семью?

— Приезжайте, пожалуйста, мы очень будем вам рады. Боюсь только, что мы с мамой покажемся вам неинтересными собеседницами.

— Когда же я могу приехать?

— Мы об этом условимся, когда окончим работу, — сказала я, — теперь для нас главное — это окончание вашего романа.

Подходило 1 ноября, срок доставки романа Стелловскому, и у Федора Михайловича возникло опасение, как бы тот не вздумал схитрить и, с целью взять неустойку, отказаться под каким-нибудь предлогом от получения рукописи. Я успокоивала Федора Михайловича, как могла, и обещала разузнать, что следует ему сделать, если бы его подозрения оправдались. В тот же вечер я упросила мою мать съездить к знакомому адвокату. Тот дал совет сдать рукопись или нотариусу, или приставу той части, где проживает Стелловский, но, разумеется, под расписку официального лица. То же самое посоветовал ему и мировой судья Фрейман (брат его школьного товарища), к которому Федор Михайлович обратился за советом.

VII

Двадцать девятого октября происходила наша последняя диктовка. Роман «Игрок» был закончен. С 4 по 29 октября, то есть в течение двадцати шести дней, Федор Михайлович написал роман в размере семи листов в два столбца, большого формата, что равняется десяти листам обыкновенного. Федор Михайлович был чрезвычайно этим доволен и объявил мне, что, сдав благополучно рукопись Стелловскому, намерен дать

в ресторане обед своим друзьям (Майкову, Милюкову и др.) и заранее приглашает меня участвовать в пиршестве.

— Да были ли вы когда-нибудь в ресторане? — спросил он меня.

— Нет, никогда.

— Но на мой обед приедете? Мне хочется выпить за здоровье моей милой сотрудницы! Без вашей помощи я не кончил бы романа вовремя. Итак, приедете?

Я отвечала, что спрошу мнения моей матери, а про себя решила не ехать. При моей застенчивости я имела бы скучающий вид и помешала бы общему веселью.

На другой день, 30 октября, я принесла Федору Михайловичу переписанную вчерашнюю диктовку. Он как-то особенно приветливо меня встретил, и даже краска бросилась ему в лицо, когда я вошла. По обыкновению, мы пересчитали переписанные листочки и порадовались, что их оказалось так много, больше, чем мы ожидали. Федор Михайлович сообщил мне, что сегодня перечитает роман, кое-что в нем исправит и завтра утром отвезет Стелловскому. Тут же он передал мне пятьдесят рублей условленной платы, крепко пожал руку и горячо поблагодарил за сотрудничество.

Я знала, что 30 октября — день рождения Федора Михайловича, а потому решила заменить мое обычное черное суконное платье лиловым шелковым. Федор Михайлович, видевший меня всегда в трауре, был польщен моим вниманием, нашел, что лиловый цвет мне очень идет и что в длинном платье я кажусь выше и стройнее. Мне было очень приятно слышать его похвалы, но удовольствие мое было нарушено приходом вдовы брата Федора Михайловича, Эмилии Федоровны, приехавшей поздравить его с днем рождения. Федор Михайлович нас познакомил и объяснил своей невестке, что благодаря моей помощи он успел кончить роман к сроку и тем избежать грозившей ему беды. Несмотря на эти слова, Эмилия Федоровна отнеслась ко мне сухо и высокомерно, чем меня очень удивила и обидела. Федору Михайловичу не понравился нелюбезный тон его невестки, и он стал ко мне еще добрее и радушнее. Предложив мне просмотреть какую-

то только что вышедшую книгу, он отвел Эмилию Федоровну в сторону и стал показывать ей какие-то бумаги.

Вошел Аполлон Николаевич Майков. Он раскланялся со мной, но меня, очевидно, не узнал. Обратившись к Федору Михайловичу, он спросил, как подвигается его роман. Федор Михайлович, занятый разговором с невесткой, вероятно, не расслышал вопроса и ничего ему не отвечал. Тогда я решила ответить за Федора Михайловича и сказала, что роман окончен еще вчера и что я только что принесла переписанную последнюю главу. Майков быстро подошел ко мне, протянул руку и извинился, что сразу не узнал. Объяснил это своею близорукостью, а также тем, что в черном платье я показалась ему ниже ростом.

Он стал расспрашивать о романе и спросил мое мнение. Я с восторгом отозвалась о новом, ставшем столь дорогим мне, произведении; сказала, что в нем есть несколько необыкновенно живых и удавшихся типов (бабушка, мистер Астлей и влюбленный генерал). Мы проговорили минут двадцать, и мне так легко было разговаривать с этим милым, добрым человеком. Эмилия Федоровна была удивлена и даже несколько шокирована вниманием ко мне Майкова, но сухости тона не изменила, считая, вероятно, ниже своего достоинства отнестись с добрым вниманием к ... стенографистке.

Майков скоро ушел. Я последовала его примеру, не желая переносить высокомерное отношение ко мне Эмилии Федоровны. Федор Михайлович очень уговаривал меня остаться и всячески желал смягчить неделикатность своей невестки. Он проводил меня до передней и напомнил мне обещание пригласить его к нам. Я подтвердила приглашение.

— Когда же я могу приехать? Завтра?

— Нет, завтра меня не будет дома: я звана к гимназической подруге.

— Послезавтра?

— Послезавтра у меня лекция стенографии.

— Так, значит, второго ноября?

— В среду, второго, я иду в театр.

— Боже мой! У вас все дни разобраны! Знаете, Анна Григорьевна, мне думается, что вы это нарочно говорите. Вам просто не хочется, чтобы я приезжал. Скажите правду!

— Да нет же, уверяю вас! Мы будем рады вас у себя видеть. Приезжайте третьего ноября, в четверг, вечером, часов в семь.

— Только в четверг? Как это долго! Мне будет без вас так скучно!

Я, конечно, приняла эти слова за милую шутку.

VIII

Итак, блаженное для меня время миновало, и наступили скучные дни. За этот месяц я так привыкла весело торопиться к началу занятий, так радостно встречаться с Федором Михайловичем и так оживленно с ним разговаривать, что это сделалось для меня потребностью. Все прежние обычные занятия потеряли для меня интерес и показались пустыми и ненужными. Даже обещанное посещение Федора Михайловича не только не радовало, но, напротив, тяготило меня. Я понимала, что ни моя добрая мама, ни я не можем быть занимательными собеседницами такого умного и талантливого человека. Если до сих пор у нас с Федором Михайловичем велись оживленные беседы, то (думала я) лишь потому, что они вращались около дела, нас обоих интересовавшего. Теперь же Федор Михайлович явится к нам в качестве гостя, которого необходимо «занимать». Я стала придумывать темы для наших будущих разговоров и мучилась мыслью, что впечатление утомительной поездки в нашу окраину и скучно проведенного вечера изглядят у Федора Михайловича, как у чрезвычайно впечатлительного человека, воспоминания о прежних наших встречах, и он пожалеет, зачем назвался на такое скучное знакомство. Мечтая увидеться с Федором Михайловичем, я, однако, готова была желать, чтобы он забыл о своем обещании посетить нас.

Как человек жизнерадостный, я старалась занять себя и рассеять свое печальное, вернее, тревожное настроение: побывала у подруги, а на следующий вечер пошла на лекцию стенографии.

Ольхин встретил меня поздравлением с успешным окончанием работы. Федор Михайлович писал ему об этом и благодарил за рекомендацию стенографа, с помощью которого он мог довести свой роман до благополучного конца. Федор Михайлович прибавлял, что новый способ работы оказался для него удобным и он рассчитывает и впредь им пользоваться.

В четверг, 3 ноября, я с утра начала приготовления к приему Федора Михайловича: сходила купить груш того сорта, которые он любил, и разных гостинцев, какими он иногда меня угощал. Целый день я чувствовала себя беспокойной, а к семи часам волнение мое достигло крайней степени. Но пробило половина восьмого, восемь, а он все не приезжал, и я уже решила, что он отдумал приехать или забыл свое обещание. В половине девятого раздался наконец столь жданный звонок. Я поспешила навстречу Федору Михайловичу и спросила его:

— Как это вы меня разыскали, Федор Михайлович?

— Вот хорошо, — отвечал он приветливо, — вы говорите это таким тоном, будто вы недовольны, что я вас нашел. А я ведь ишу вас с семи часов, объехал окрестности и всех расспрашивал. Все знают, что тут имеется Костромская улица, а как в нее попасть — указать не могут¹². Спасибо, нашелся добрый человек, сел на облучок и показал кучеру, куда ехать.

Вошла моя мать, и я поспешила представить ей Федора Михайловича. Он галантно поцеловал у ней руку и сказал, что очень обязан мне за помощь в работе. Мама принялась разливать чай, а Федор Михайлович тем временем рассказывал мне, сколько тревог принесла ему доставка рукописи Стелловскому. Как мы предвидели, Стелловский схитрил: он уехал в провинцию, и слуга объявил, что неизвестно, когда он вернется. Федор Михайлович поехал тогда в контору изданий Стелловского и пытался вручить рукопись заведующему конторой, но тот наотрез отказался при-

¹² Костромская улица находится за Николаевским госпиталем, чрез ворота которого ближайший к ней путь. Вечером ворота эти запирались, и попасть в эту улицу можно было или с Слоновой улицы (ныне Суворовского проспекта), или с Малой Болотной. (Прим. А. Г. Достоевской.)

нять, говоря, что не уполномочен на это хозяином. К нотариусу Федор Михайлович опоздал, а в управлении квартала днем никого из начальствующих не оказалось, и его просили заехать вечером. Весь день провел он в тревоге, и лишь в десять часов вечера удалось ему сдать рукопись в конторе квартала <N-ской> части и получить от надзирателя расписку.

Мы принялись пить чай и беседовать так же весело и неприужденно, как всегда. Придуманные мною темы разговоров пришлось отложить в сторону, — так много явилось новых и занимательных. Федор Михайлович совершенно очаровал мою мать, вначале несколько смущенную посещением «знаменитого» писателя. Федор Михайлович умел быть обаятельным, и часто впоследствии приходилось мне наблюдать, как люди, даже предубежденные против него, подпадали под его очарование.

Федор Михайлович сказал мне, между прочим, что хочет неделю отдохнуть, а затем приняться за последнюю часть «Преступления и наказания».

— Я хочу просить вашей помощи, добрая Анна Григорьевна. Мне так легко было работать с вами. Я и впредь хотел бы диктовать, и надеюсь, что вы не откажетесь быть моею сотрудницей.

— Охотно стала бы вам помогать, — отвечала я, — да не знаю, как посмотрит на это Ольхин. Быть может, он эту новую работу у вас предназначил для другого своего ученика или ученицы.

— Но я привык к вашей манере работать и ею чрезвычайно доволен. Странно было бы, если бы Ольхин вздумал мне рекомендовать другого стенографа, с которым я, возможно, и не сойду. Впрочем, вы сами, может быть, не хотите у меня больше заниматься? В таком случае я, конечно, не настаиваю...

Он был, видимо, огорчен. Я старалась его успокоить; сказала, что, вероятно, Ольхин ничего не будет иметь против этой новой работы, но что мне все же следует его об этом спросить.

Около одиннадцати часов Федор Михайлович собрался уходить и, прощаясь, взял с меня слово на первой же лекции переговорить с Ольхиным и ему написать. Мы расстались самым дружелюбным образом, и я вернулась в столовую в восторге от

нашей столь оживленной беседы. Но не прошло и десяти минут, как вошла горничная и рассказала, что у извозчика-лихача, привезшего Федора Михайловича, кто-то в темноте украл подушку с санок. Извозчик был в отчаянии, и лишь обещание Федора Михайловича вознаградить его за потерю могло его утешить.

Я так была еще юна, что этот эпизод меня чрезвычайно смутил: мне представилось, что подобный случай повлияет на отношения Федора Михайловича к нам и что он не захочет бывать в такой глуши, где его могут ограбить, как ограбили его извозчика. Мне до слез было жалко, что впечатление так чудесно проведенного вечера рушилось от обидной случайности...

IX

На другой день после посещения Федора Михайловича я отправилась на целый день к моей сестре, Марии Григорьевне Сватковской, и рассказывала ей и ее мужу, Павлу Григорьевичу, о моей работе у Достоевского. Занимаясь днем у Федора Михайловича, а вечером переписывая продиктованное, я видалась с сестрой Машей лишь урывками, и рассказов накопилось много. Сестра слушала внимательно, постоянно перебивая и обо всем подробно спрашивая, и, видя мое чрезвычайно одушевление, сказала мне на прощанье:

— Напрасно, Неточка, ты так увлекаешься Достоевским. Ведь твои мечты осуществиться не могут, да и слава богу, что не могут, если он такой больной и обремененный семьею и долгами человек!

Я горячо возразила, что Достоевским совсем не «увлекаюсь», ни о чем не «мечтаю», а просто рада была беседовать с умным и талантливым человеком и благодарна ему за его всегдашнюю доброту и внимание ко мне.

Однако слова сестры меня смутили, и, вернувшись домой, я спрашивала себя: неужели сестра Маша права и я действительно «увлечена» Федором Михайловичем? Неужели это начало любви, которой я до сих пор не испытала? Какая это была бы безумная

мечта с моей стороны! Разве это возможно? Но если это начало любви, то что же мне делать? Не отказаться ли мне под благовидным предлогом от предлагаемой им мне работы, не видеть его более, не думать о нем, постараться мало-помалу забыть и, углубившись в какое-либо занятие, возвратить себе прежнее душевное спокойствие, которым я всегда так дорожила. Но ведь возможно, что Маша и ошибается и никакая опасность не угрожает моему сердцу. Зачем же в таком случае я лишу себя и стенографической работы, о которой я так мечтала, и тех добродушных и интересных бесед, которыми эта работа сопровождалась?

Кроме того, страшно жаль было оставить Федора Михайловича без стенографической помощи, раз уж он к ней приспособился, тем более что среди учеников и учениц Ольхина (кроме двух, уже имевших постоянную работу) я не знала, кто бы меня мог вполне заменить и по скорости письма, и по аккуратности в доставке продиктованного.

Все эти мысли мелькали в моей голове, и я чувствовала себя очень тревожно.

Наступило воскресенье, 6 ноября. В этот день я собралась поехать поздравить мою крестную мать с днем ее ангела. Я не была с нею близка и посещала ее лишь в торжественные дни. Сегодня у ней предполагалось много гостей, и я рассчитывала рассеять не покидавшее меня эти дни гнетущее настроение. Она жила далеко, у Аларчина моста, и я собралась к ней засветло. Пока послали за извозчиком, я села поиграть на фортепьяно и за звуками музыки, не расслышала звонка. Чьи-то мужские шаги привлекли мое внимание, я оглянулась и, к большому моему удивлению и радости, увидела входившего Федора Михайловича. Он имел робкий и как бы сконфуженный вид. Я пошла к нему навстречу.

— Знаете, Анна Григорьевна, что я сделал? — сказал Федор Михайлович, крепко пожимая мне руку. — Все эти дни я очень скучал, а сегодня с утра раздумывал, поехать мне к вам или нет? Будет ли это удобно? Не покажется ли вам и вашей матушке странным столь скорый визит: был в четверг и являюсь в воскресенье! Решил ни за что не ехать к вам, и, как видите, приехал!

— Что вы, Федор Михайлович! Мама и я, мы всегда будем рады вас видеть у себя!

Несмотря на мои уверения, разговор наш не вязался. Я не могла победить моего тревожного настроения и только отвечала на вопросы Федора Михайловича, сама же почти ни о чем не спрашивала. Была и внешняя причина, которая меня смущала. Нашу большую залу, в которой мы теперь сидели, не успели протопить, и в ней было очень холодно. Федор Михайлович это заметил.

— Как у вас, однако, холодно; и какая вы сами сегодня холодная! — сказал он и, заметив, что я в светло-сером шелковом платье, спросил, куда я собираюсь?

Узнав, что я должна ехать сейчас к моей крестной матери, Федор Михайлович объявил, что не хочет меня задерживать, и предложил подвезти меня на своем лихаче, так как нам было с ним по дороге. Я согласилась, и мы поехали. При каком-то крутом повороте Федор Михайлович захотел придержать меня за талию. Но у меня, как у девушек шестидесятых годов, было предубеждение против всех знаков внимания, вроде целования руки, придерживания дам за талию и т. п., и я сказала:

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — я не упаду!

Федор Михайлович, кажется, обиделся и сказал:

— Как бы я желал, чтоб вы выпали сейчас из саней!

Я расхохоталась, и мир был заключен: всю остальную дорогу мы весело болтали, и мое грустное настроение как рукой сняло. Прощаясь, Федор Михайлович крепко пожал мне руку и взял с меня слово, что я приду к нему через день, чтобы условиться относительно работы над «Преступлением и наказанием».

Х

Восьмого ноября 1866 года — один из знаменательных дней моей жизни: в этот день Федор Михайлович сказал мне, что меня любит, и просил быть его женой. С того времени прошло

полвека, а все подробности этого дня так ясны в моей памяти, как будто произошли месяц назад.

Был светлый морозный день. Я пошла к Федору Михайловичу пешком, а потому опоздала на полчаса против назначенного времени. Федор Михайлович, видимо, давно уже меня ждал: заслышав мой голос, он тотчас вышел в переднюю.

— Наконец-то вы пришли! — радостно сказал он и стал помогать мне развязывать башлык и снимать пальто. Мы вместе вошли в кабинет. Там на этот раз было очень светло, и я с удивлением заметила, что Федор Михайлович чем-то взволнован. У него было возбужденное, почти восторженное выражение лица, что очень его молодило.

— Как я рад, что вы пришли, — начал Федор Михайлович, — я так боялся, что вы забудете свое обещание.

— Но почему же вы это думали? Если я даю слово, то всегда его исполняю.

— Простите, я знаю, что вы всегда верны данному слову. Я так рад, что опять вас вижу!

— И я рада, что вижу вас, Федор Михайлович, да еще в таком веселом настроении. Не случилось ли с вами чего-либо приятного?

— Да, случилось! Сегодня ночью я видел чудесный сон!

— Только-то! — И я рассмеялась.

— Не смейтесь, пожалуйста. Я придаю снам большое значение. Мои сны всегда бывают вещими. Когда я вижу во сне покойного брата Мишу, а особенно когда мне снится отец, я знаю, что мне грозит беда.

— Расскажите же ваш сон!

— Видите этот большой палисандровый ящик? Это подарок моего сибирского друга Чокана Валиханова, и я им очень дорожу. В нем я храню мои рукописи, письма и вещи, дорогие мне по воспоминаниям. Так вот, вижу я во сне, что сижу перед этим ящиком и разбираю бумаги. Вдруг между ними что-то блеснуло, какая-то светлая звездочка. Я перебираю бумаги, а звездочка то появляется, то исчезает. Это меня заинтриговало: я стал мед-

ленно перекладывать бумаги и между ними нашел крошечный брильянтик, но очень яркий и сверкающий.

— Что же вы с ним сделали?

— В том-то и горе, что не помню! Тут пошли другие сны, и я не знаю, что с ним случилось. Но то был хороший сон!

— Сны, кажется, принято объяснять наоборот, — заметила я и тотчас же раскаялась в своих словах. Лицо Федора Михайловича быстро изменилось, точно потускнело.

— Так вы думаете, что со мною не произойдет ничего счастливого? Что это только напрасная надежда? — печально воскликнул он.

— Я не умею отгадывать сны, да и не верю им вовсе, — отвечала я.

Мне было очень жаль, что у Федора Михайловича исчезло его бодрое настроение, и я старалась его развеселить. На вопрос, какие я вижу сны, я рассказала их в комическом виде.

— Всего чаще я вижу во сне нашу бывшую начальницу гимназии, величественную даму со старомодными буклями на висках, и всегда она меня за что-нибудь распекает. Снится мне также рыжий кот, что спрыгнул однажды на меня с забора нашего сада и этим страшно напугал.

— Ах вы, деточка, деточка! — повторял Федор Михайлович, смеясь и ласково на меня посматривая, — и сны-то у вас какие! Ну, а что же, весело вам было на именинах вашей крестной? — спросил он меня.

— Очень весело. После обеда старшие сели играть в карты, а мы, молодежь, собрались в кабинете хозяина и весь вечер оживленно болтали. Там было два очень милых и веселых студента.

Федор Михайлович опять затуманился. Меня поразило, до чего быстро менялось на этот раз настроение Федора Михайловича. Не зная свойств эпилепсии, я подумала, не предвещает ли это изменчивое настроение приближения припадка, и мне стало жутко...

У нас давно уже повелось, что, когда я приходила стенографировать, Федор Михайлович рассказывал мне, что он делал и где

бывал за те часы, когда мы не видались. Я поспешила спросить Федора Михайловича, чем он был занят за последние дни.

— Новый роман придумывал, — ответил он.

— Что вы говорите? Интересный роман?

— Для меня очень интересен; только вот с концом романа сладить не могу. Тут замешалась психология молодой девушки. Будь я в Москве, я бы спросил мою племянницу, Сонечку, ну, а теперь за помощью обращусь к вам.

Я с гордостью приготовилась «помогать» талантливому писателю.

— Кто же герой вашего романа?

— Художник, человек уже немолодой, ну, одним словом, моих лет.

— Расскажите, расскажите, пожалуйста, — просила я, очень заинтересовавшись новым романом.

И вот в ответ на мою просьбу полилась блестящая импровизация. Никогда, ни прежде, ни после, не слыхала я от Федора Михайловича такого вдохновенного рассказца, как в этот раз. Чем дальше он шел, тем яснее казалось мне, что Федор Михайлович рассказывает свою собственную жизнь, лишь изменяя лица и обстоятельства. Тут было все то, что он передавал мне раньше, мельком, отрывками. Теперь подробный, последовательный рассказ многое мне объяснил в его отношениях к покойной жене и к родным.

В новом романе было тоже суровое детство, ранняя потеря любимого отца, какие-то роковые обстоятельства (тяжкая болезнь), которые оторвали художника на десяток лет от жизни и любимого искусства. Тут было и возвращение к жизни (выздоровление художника), встреча с женщиною, которую он полюбил: муки, доставленные ему этою любовью, смерть жены и близких людей (любимой сестры), бедность, долги...

Душевное состояние героя, его одиночество, разочарование в близких людях, жажда новой жизни, потребность любить, страстное желание вновь найти счастье были так живо и талантливо обрисованы, что, видимо, были выстраданы самим

автором, а не были одним лишь плодом его художественной фантазии.

На обрисовку своего героя Федор Михайлович не пожалел темных красок. По его словам, герой был преждевременно состарившийся человек, больной неизлечимой болезнью (паралич руки), хмурый, подозрительный; правда, с нежным сердцем, но не умеющий высказывать свои чувства; художник, может быть, и талантливый, но неудачник, не успевший ни разу в жизни воплотить свои идеи в тех формах, о которых мечтал, и этим всегда мучающийся.

Видя в герое романа самого Федора Михайловича, я не могла удержаться, чтобы не прервать его словами:

— Но зачем же вы, Федор Михайлович, так обидели вашего героя?

— Я вижу, он вам несимпатичен.

— Напротив, очень симпатичен. У него прекрасное сердце. Подумайте, сколько несчастий выпало на его долю и как безропотно он их перенес! Ведь другой, испытавший столько горя в жизни, наверно, ожесточился бы, а ваш герой все еще любит людей и идет к ним на помощь. Нет, вы решительно к нему несправедливы.

— Да, я согласен, у него действительно доброе, любящее сердце. И как я рад, что вы его поняли!

— И вот, — продолжал свой рассказ Федор Михайлович, — в этот решительный период своей жизни художник встречается на своем пути молодую девушку ваших лет или на год-два постарше. Назовем ее Аней, чтобы не называть героиней. Это имя хорошее...

Эти слова подкрепили во мне убеждение, что в героине он подразумевает Анну Васильевну Корвин-Круковскую, свою бывшую невесту. В ту минуту я совсем забыла, что меня тоже зовут Анной, — так мало я думала, что этот рассказ имеет ко мне отношение. Тема нового романа могла возникнуть (думалось мне) под впечатлением недавно полученного от Анны Васильевны письма из-за границы, о котором Федор Михайлович мне на днях говорил.

Портрет героини был обрисован иными красками, чем портрет героя. По словам автора, Аня была кротка, умна, добра, жизнерадостна и обладала большим тактом в сношениях с людьми. Придавая в те годы большое значение женской красоте, я не удержалась и спросила:

— А хороша собой ваша героиня?

— Не красавица, конечно, но очень недурна. Я люблю ее лицо.

Мне показалось, что Федор Михайлович проговорился, и у меня сжалось сердце. Недоброе чувство к Корвин-Круковской овладело мною, и я заметила:

— Однако, Федор Михайлович, вы слишком идеализировали вашу «Аню». Разве она такая?

— Именно такая! Я хорошо ее изучил! Художник, — продолжал свой рассказ Федор Михайлович, — встречал Аню в художественных кружках, и чем чаще ее видел, тем более она ему нравилась, тем сильнее крепло в нем убеждение, что с нею он мог бы найти счастье. И, однако, мечта эта представлялась ему почти невозможной. В самом деле, что мог он, старый, больной человек, обремененный долгами, дать этой здоровой, молодой, жизнерадостной девушке? Не была ли бы любовь к художнику страшной жертвой со стороны этой юной девушки и не стала ли бы она потом горько раскаиваться, что связала с ним свою судьбу? Да и вообще, возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника? Не будет ли это психологической неверностью? Вот об этом-то мне и хотелось бы знать ваше мнение, Анна Григорьевна.

— Почему же невозможно? Ведь если, как вы говорите, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим, отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? Что в том, что он болен и беден? Неужели же любить можно лишь за внешность да за богатство? И в чем тут жертва с ее стороны? Если она его любит, то и сама будет счастлива, и раскаиваться ей никогда не придется!

Я говорила горячо. Федор Михайлович смотрел на меня с волнением.

— И вы серьезно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь?

Он помолчал, как бы колеблясь.

— Поставьте себя на минуту на ее место, — сказал он дрожащим голосом. — Представьте, что этот художник — я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?

Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала:

— Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь!

Я не стану передавать те нежные, полные любви слова, которые говорил мне в те незабвенные минуты Федор Михайлович: они для меня священны...

Я была поражена, почти подавлена громадностью моего счастья и долго не могла в него поверить. Припоминаю, что, когда почти час спустя Федор Михайлович стал сообщать планы нашего будущего и просил моего мнения, я ему ответила:

— Да разве я могу теперь что-либо обсуждать! Ведь я так ужасно счастлива!!

Не зная, как сложатся обстоятельства и когда может состояться наша свадьба, мы решили до времени никому о ней не говорить, за исключением моей матери. Федор Михайлович обещал приехать к нам завтра на весь вечер и сказал, что с нетерпением будет ждать нашей встречи.

Он проводил меня до передней и заботливо повязал мой башлык. Я уже готова была выйти, когда Федор Михайлович остановил меня словами:

— Анна Григорьевна, а я ведь знаю теперь, куда девался брильянтик.

— Неужели припомнили сон?

— Нет, сна не припомнил. Но я наконец нашел его и намерен сохранить на всю жизнь.

— Вы ошибаетесь, Федор Михайлович! — смеялась я. — Вы нашли не брильянтик, а простой камешек.

— Нет, я убежден, что на этот раз не ошибаюсь, — уже серьезно сказал мне на прощанье Федор Михайлович.

XI

Восторг наполнял мою душу, когда я возвращалась от Федора Михайловича. Помню, что всю дорогу я почти громко восклицала, забывая о прохожих:

— Боже мой, какое счастье! Неужели это правда? Разве это не сон? Неужели он будет моим мужем?!

Шум уличной толпы несколько отрезвил меня, и я вспомнила, что звана на обед к родственникам, которые праздновали именины моего двоюродного брата Михаила Николаевича Сниткина. Я зашла в булочную (тогда кондитерских было мало) купить именинный пирог. Душа моя была полна восторгом, все казались добрыми и милыми, и всем мне хотелось сказать что-нибудь приятное. Я не удержалась и заметила немецкой барышне, продававшей пирог:

— Какой у вас чудесный цвет лица и как вы мило причесаны!

У родственников я застала много гостей, но моей матери не было, хотя она обещала приехать к обеду. Меня это огорчило: мне так хотелось поскорее сообщить ей мою радость.

За обедом было весело, но я вела себя очень странно: то всему смеялась, то задумывалась и не слышала, что мне говорили; то отвечала невпопад и одного господина даже назвала Федором Михайловичем. Надо мною стали шутить, я отговаривалась жестокой мигренью.

Наконец приехала моя добрая мама. Я выбежала к ней в переднюю, обняла ее и прошептала на ухо:

— Поздравьте меня, я — невеста!

Больше сказать мне не удалось, так как навстречу маме спешили хозяева. Помню, весь вечер мама очень пытливо на меня

поглядывала, не зная, наверно, за кого из присутствовавших моих поклонников я выхожу замуж. Только возвращаясь домой, я могла объяснить ей, что выхожу за Достоевского. Не знаю, была ли моя мать этому рада; думаю, что нет. Как человек опытный, долго живший на свете, она не могла не предвидеть, что в этом супружестве мне предстоит много мучений и горя как из-за страшной болезни моего будущего мужа, так и из-за недостатка средств. Но она не пробовала меня отговаривать (как делали потом другие), и я ей за то благодарна. Да и кто бы мог меня уговорить отказаться от этого предстоявшего мне великого счастья, которое впоследствии, несмотря на многие тяжелые стороны нашей совместной жизни (болезнь мужа, долги), оказалось действительным, истинным для нас обоих счастьем.

Следующий день, девятого ноября, тянулся для меня томительно долго. Я ничем не могла заняться и все вспоминала подробности нашей вчерашней беседы и даже записала ее в свою стенографическую книжку.

Федор Михайлович явился в половине седьмого и начал с извинения, что приехал на полчаса ранее назначенного времени.

— Но я не мог вытерпеть, мне так хотелось поскорее свидеться с вами!

— *Nous sommes logées à la même enseigne*¹³, — отвечала я, смеясь, — я весь день ничего не делала, все о вас думала и так ужасно счастлива, что вы приехали!

Федор Михайлович тотчас же обратил внимание на то, что я одета в светлый костюм.

— Всю дорогу к вам я раздумывал, снимете ли вы траур или будете и теперь носить черное платье. И вот вы — в розовом!

— Но как же могло быть иначе, когда у меня на душе такая радость! Разумеется, пока мы не объявим о нашей свадьбе, я буду носить в обществе траур, а дома, для вас, светлое.

— Вам очень идет розовый цвет, — сказал Федор Михайлович, — но в нем вы еще помолодели и кажетесь девочкой.

¹³ У нас те же невзгоды (*франц.*).

Моя молоджавость, видимо, смущала Федора Михайловича. Я стала, смеясь, уверять его, что очень скоро постарею, и хоть это обещание было шуткой, но в моей жизни оно, благодаря многим обстоятельствам, скоро исполнилось, то есть, вернее, я не постарела, а старалась и в нарядах своих, и в разговорах быть настолько солидной, что разница лет между мною и мужем скоро стала почти незаметна.

Вошла моя мать. Федор Михайлович поцеловал ей руку и сказал:

— Вы, конечно, уже знаете, что я просил руки вашей дочери. Она согласилась быть моей женой, и я этим чрезвычайно счастлив. Но мне хотелось бы, чтобы вы одобрили ее выбор. Анна Григорьевна так много говорила о вас хорошего, что я привык вас уважать. Даю вам слово, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы она была счастлива. Для вас же я буду самым преданным и любящим родственником.

Надо отдать справедливость Федору Михайловичу, что за четырнадцать лет нашего брака он всегда был очень почтителен и добр с моей матерью, искренно любил и почитал ее.

Произнес Федор Михайлович свою маленькую речь торжественно, но несколько сбивчиво, о чем и сам потом заметил. Мама была очень тронута, обняла Федора Михайловича, просила его любить и беречь меня и даже расплакалась.

Я поспешила прервать эту, может быть, несколько тягостную для Федора Михайловича сцену словами:

— Милая мамочка, дайте нам скорее чаю! Федор Михайлович ужасно озяб!

Принесли чай, мы уселись со стаканами в руках в мягких старинных креслах и принялись оживленно разговаривать.

Прошло около часу, как раздался звонок, и девушка доложила о приходе двух молодых людей, часто у нас бывавших. На этот раз меня очень раздосадовали эти непрошенные гости, и я попросила мою мать:

— Пожалуйста, выйдите к ним и скажите, что извиняюсь и что у меня болит голова.

— Пожалуйста, не отказывайте им, Анна Николаевна, — перебил Федор Михайлович и, обратясь ко мне, прибавил вполголоса: — Мне хочется видеть вас в обществе молодежи. Ведь до сих пор я видал вас только с нами, со стариками.

Я улыбнулась и просила звать гостей. Я представила их Федору Михайловичу и назвала его. Молодые люди были несколько смущены неожиданным знакомством с известным романистом. Чтобы объяснить им некоторую торжественность обстановки, в которой они нас застали, я сказала гостям, что они попали на фестиваль по случаю окончания нашей общей работы над новым романом. Мне очень захотелось затеять общий разговор и втянуть в него Федора Михайловича. Я воспользовалась вопросом одного из молодых людей, прошла ли моя вчерашняя мигрень, и сказала:

— Это вы виноваты в моей головной боли: вы все так много курили. Не правда ли, Федор Михайлович, много курить не следует?

— Я тут плохой судья: я сам много курю.

— Но ведь это же вредно для здоровья?

— Конечно, вредно, но это — привычка, от которой трудно избавиться.

То были единственные слова, сказанные Федором Михайловичем. Мне не удалось втянуть его в дальнейший разговор. Он курил и пытливо посматривал на меня и на гостей. Молодые люди были смущены: им, очевидно, импонировало имя Достоевского. Они сказали, что вчера, после моего ухода от родственников, было решено поехать всем вместе посмотреть «Юдифь» Серова, и им поручено узнать, в какой день я свободна, и взять ложу.

Я очень любезно, но решительно объяснила, что в оперу не поеду, так как начну теперь усиленно заниматься стенографией, чтобы догнать товарищей.

— Ну, а на концерт пятнадцатого ноября поедете? Ведь вы же обещали! — сказали огорченные молодые люди.

— И на концерт не поеду, все по той же причине.

— Но ведь вам было так весело на этом концерте в прошлом году.

— Мало ли что было в прошлом году! С тех пор много воды утекло, — сентенциозно заметила я.

Молодые люди почувствовали себя лишними и поднялись уходить. Я их не удерживала.

— Ну, довольны вы мной? — спросила я Федора Михайловича по уходе гостей.

— Вы щебетали, как птичка. Жаль только, что вы обидели ваших поклонников, так категорически отказываясь от всего, что прежде вас интересовало.

— Бог с ними! На что они мне теперь! Мне нужен только один: мой дорогой, мой милый, мой славный Федор Михайлович!

— Так я милый, так я для вас дорогой? — сказал Федор Михайлович, и вновь началась душевная беседа, продолжавшаяся весь вечер.

Какое то было счастливое время и с какою глубокою благодарностью судьбе я о нем вспоминаю!

ХИ

Принятое нами решение хранить в тайне от родных и знакомых нашу помолвку продержалось не более недели. Тайна наша открылась самым неожиданным образом.

Федор Михайлович, приезжая к нам, брал извозчика по часам, от семи до десяти. Во время долгого пути к нам и обратно Федор Михайлович, любивший простых людей, разговаривал обыкновенно со своим извозчиком. Чувствуя потребность поделиться с кем-нибудь своим счастьем, он рассказывал ему про свою предстоящую женитьбу. Однажды, вернувшись от нас домой и не найдя в кармане мелочи, он сказал извозчику, что сейчас вышлет ему деньги. Деньги вынесла служанка. Не зная, которому из трех извозчиков, стоявших у ворот, следует уплатить, она спросила, кто сейчас привез «старого барина»?

— Это жениха-то? Я привез.

— Какого жениха? Наш барин — не жених.

— Ан нет, жених! Сам мне сказывал, что жених. Да я и невесту видал, когда дверь отворяли. Выходила его проводить, такая веселая, все смеется!

— Да ты откуда барина привез?

— Из-под Смольного привез.

Федосья, зная мой адрес, догадалась, кто невеста ее барина, и поспешила сообщить это известие Павлу Александровичу.

Всю эту сцену рассказал мне назавтра Федор Михайлович (он подробно расспросил Федосью), и так картинно, что она навсегда осталась в моей памяти.

Когда я спросила, какое впечатление произвело на его пасынка известие о нашей помолвке, Федор Михайлович затуманился и, видимо, хотел отклонить расспросы. Я настаивала на подробностях. Федор Михайлович рассмеялся и рассказал, что сегодня утром явился к нему в кабинет «Паша», в парадном костюме и синих очках, которые надевал лишь в торжественных случаях. Он объявил Федору Михайловичу, что узнал о его предстоящем браке; что он поражен, удивлен и возмущен, что при решении своей судьбы Федор Михайлович не подумал спросить совета и согласия у своего «сына», которого это решение столь близко касается. Просил «отца» вспомнить, что он уже «старик» и что ему не по летам и не по силам начинать новую жизнь; напоминал, что у Федора Михайловича имеются другие обязанности, и проч. и проч.

Павел Александрович, по словам Федора Михайловича, говорил «важно, напыщенно и наставительно». Его так возмутил тон пасынка, что он вышел из себя, закричал и прогнал его из кабинета.

Когда через два дня я пришла к Федору Михайловичу (узнав, что у него был припадок), то пасынок его ко мне не вышел. Он очень шумно передвигал что-то в столовой и сердито распекал служанку, с целью показать мне, что он дома. Затем, в следующий мой приход (через неделю), Павел Александрович, вероятно, по приказанию отчима, вошел в кабинет, сухо и официально меня поздравил, посидел молча минут десять и имел обиженный и огорченный вид. Но Федор Михайлович был в тот день

в чудесном настроении, мне также было весело, и оба мы были так счастливы, что совсем не обратили внимания на строгий и сдержанный тон Павла Александровича. Впоследствии, когда он заметил, что его суровый вид на нас не действует, а только сердит Федора Михайловича, он переменял гнев на милость и стал со мною вежлив и любезен, не упуская, однако, случая сказать мне какую-нибудь колкость.

ХIII

Счастливое время нашего жениховства пролетело для нас чрезвычайно быстро. С внешней стороны дни шли однообразно: под предлогом усиленных занятий стенографией я ни у кого не бывала, никого к себе не приглашала, не ездила ни в концерты, ни в театр. Исключение составил вечер, проведенный мною на представлении драмы «Смерть Иоанна Грозного» гр. Алексея Толстого.

Федор Михайлович очень ценил эту драму и захотел посмотреть ее вместе со мною. Он взял ложу и, кроме меня, пригласил Эмилию Федоровну с дочерью и сыновьями, а также Павла Александровича. Как ни приятно было для меня делиться впечатлениями с Федором Михайловичем, но присутствие неприязненно настроенных против меня людей очень меня тяготило. Эмилия Федоровна так откровенно выказывала свое недоброжелательство, что под конец я сделалась очень грустна, что тотчас же заметил Федор Михайлович. Он стал спрашивать, что со мною, и я сослалась на головную боль.

Впрочем, этот неприятный вечер не мог разрушить моего счастливого настроения. В душе моей царил вечный праздник. Я, всегда прежде находившая себе занятие, теперь решительно ничего не делала. Целыми днями думала я о Федоре Михайловиче, вспоминала вчерашние с ним разговоры и с нетерпением ждала, когда он сегодня опять придет. Он приезжал обыкновенно в семь, иногда в половине седьмого. К его приезду всегда кипел на столе самовар. Наступила зима, и я боялась, как бы Федор Михайлович не простудился во время своего долгого

пути к нам. Как только он входил в комнату, я спешила дать ему стакан горячего чаю.

Я считала за большую жертву с его стороны ежедневные посещения меня и, жалея его, против своего желания, уговаривала его пропускать иногда вечера. Федор Михайлович в ответ уверял меня, что приезжать к нам для него наслаждение, что он оживает и успокаивается, бывая у меня, и тогда откажется от ежедневных посещений, когда я сама скажу, что они меня тяготят. Он говорил это шутя, так как видел, до чего я была всегда ему рада.

После чаю мы усаживались в наших старинных креслах, а на разделявший нас столик ставились разнообразные гостинцы. Федор Михайлович каждый вечер привозил конфеты от Ballet (его любимая кондитерская). Зная его тяжелые материальные обстоятельства, я убеждала Федора Михайловича не привозить конфет, но он находил, что подарки жениха невесте составляют добрый старинный обычай и нарушать его не следует.

В свою очередь, у меня всегда были приготовлены любимые Федором Михайловичем груши, изюм, финики, шептала, пастила, все в небольшом количестве, но всегда свежее и вкусное. Я нарочно ходила сама по магазинам, выискивая что-либо особенное, чем побаловать Федора Михайловича. Он дивился и уверял, что только такая лакомка, как я, могла разыскать столь вкусные вещи. Я же утверждала, что это он — страшный лакомка: так мы и не могли решить, кто же из нас в этом больше грешен.

Когда наступало десять часов, я начинала торопить Федора Михайловича ехать домой. Местность, где находились дома моей матери, была очень пустынная, и я боялась, как бы с ним не случилось несчастья. В первые же вечера я предлагала Федору Михайловичу нашего дворника в провожатые, но он и слышать о том не хотел. Он уверял, что ничего не боится и сам справится, если бы кто на него напал. Его уверения мало меня успокаивали, и я приказывала дворнику тайно провожать его до поворота в оживленную Слоновую улицу, держась от санок в пятнадцати — двадцати шагах.

Случалось, что Федор Михайлович не мог ко мне приехать: читал на литературном вечере или был на званом обеде. В таких

случаях мы уговаривались накануне, чтобы я пришла к Федору Михайловичу к часу и оставалась до пяти. С умилением вспоминаю, как он уговаривал меня посидеть «еще десять минут, еще четверть часика» и жалобно говорил:

— Подумай, Аня, я ведь не увижу тебя целые сутки!

Случалось, что он в тот же вечер, ускользнув из гостей или выполнив свой номер чтения, приезжал к нам в девять или в половине десятого и, торжествуя, говорил:

— А я сбежал, как школьник! Хоть полчаса посидим вместе!

Я, конечно, была безумно рада повидать его еще раз в этот день.

Федор Михайлович приезжал к нам всегда благодушный, радостный и веселый. Я часто недоумевала, как могла создаться легенда об его будто бы угрюмом, мрачном характере, легенда, которую мне приходилось читать и слышать от знакомых. Кстати, припоминаю следующий случай: как-то, расспрашивая меня о моем преподавателе стенографии, П. М. Ольхине, Федор Михайлович сказал:

— Какой это угрюмый человек.

Я рассмеялась.

— Ну, представь себе, что сказал мне Павел Матвеевич после свидания с тобой? «Предлагаю вам работу у писателя Достоевского, только не знаю, как вы с ним сойдетесь — он мне показался таким мрачным, таким угрюмым человеком!» И вот ты теперь высказываешь точно такое же о нем мнение! На самом деле вы оба вовсе не мрачны и не угрюмы, а лишь кажетесь такими.

— Что же ты отвечала тогда Ольхину? — полюбопытствовал Федор Михайлович.

— Я сказала: зачем мне сходиться с Достоевским? Я постараюсь как можно лучше исполнить его работу, а самого Достоевского я до того уважаю, что даже боюсь!

— И вот, несмотря на предсказание Ольхина, мы с тобою сошлись, и сошлись на всю жизнь, не правда ли, милая моя Анечка? — спросил Федор Михайлович, ласково на меня поглядывая.